

Это личное!

Елена Шумара если я буду нужен

Роман — лауреат национальной
литературной премии

Рукопись года

Елена Шумара
Если я буду нужен
Серия «Винуваты звезды»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57297700
Если я буду нужен / Елена Шумара: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-122344-1

Аннотация

Роман – лауреат национальной литературной премии «Рукопись года».

В провинциальном городе орудует маньяк. Шестнадцатилетние Алина и Зяблик пока не знакомы, но оба уверены, что убийца ближе, чем кажется. А мрачные предчувствия не единственное, что объединяет героев.

«Маленький Город. Подростки – раненые птицы. Их матери – раненые вдвойне. Такие похожие – ведь выросли на одной улице. Такие сильные, когда на пороге беда. Птицы... Девочка без отца, но со шрамом. Мальчик в ботинках на толстой подошве – без имени. Мелкий – с именем, но зовут его просто Мелкий. И еще – крысы... Большие и малые, с хвостами – из прошлого, где мир однажды был вывернут наизнанку».

Е. Шумара

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	22
Глава 3	52
Глава 4	73
Глава 5	109
Конец ознакомительного фрагмента.	144

Елена Шумара

Если я буду нужен

Моим родителям

*...любовь приходит к нам по-разному, в разных
обличьях, в разных одеждах, и, может быть, нужно
очень много времени, чтобы понять, принять и
называть её по имени.*

Джон Фаулз. Коллекционер

В тот день я понял, что детство кончилось. Вернее, само-то детство никуда не делось. Просто оно выплюнуло меня на гладкий взрослый асфальт. Или его вытошнило мной, не знаю. Одно было ясно. Эта резкая боль – через глаза, горло, грудную клетку, живот, ниже – теперь никуда не уйдет. Она будет затихать и прятаться, а потом возвращаться и... снова, снова, снова.

Глава 1

Дети – цветы, или Мутный Сад

Мне – семь

Ровно в семь меня будили теплые материнские руки. Ощущения этого я не любил и не потому, что не умел просыпаться. Умел, и еще как. Мое сознание хорошо чувствовало наступление нового дня и дергало за все крючки: «Встать!» Утренняя мать напоминала вкус парного молока – белого, тягучего, сладкого. Я начинал тяжело дышать и отталкивать ее будто в полусне. А она смеялась и крепко держала меня за запястья.

Утренний я был горячим и влажным, как новорожденный котенок. Мне хотелось трогать себя и там, и тут, гладить против слипшейся шерсти. Но мать смотрела, и я только сжимал кулаки, собирая в горсть податливую простыню.

Пузатый чайник дышал паром, а на деревянном столе без скатерти лежали куски сыра и круглого ржаного. Кровяно пахло свеклой и блекло – капустой. Мать что-то резала, швыряла, кувыркала. Точила ножи об оселок в форме слона, и слон визжал, подняв к потолку свой толстый хобот.

– Борщ варю, – подмигивала мать.

Старый фартук с крылышками, прожженный в несколь-

ких местах, твердо обнимал ее за талию, а крылышки, чуть смятые, слабо шевелились, словно крылья умирающей бабочки. Вечером – не всякий раз, иногда – в кармане фартука можно было найти конфету или орех. Я приходил за добычей в темноте, как вор, и запретность этого действия доставляла мне удовольствие, даже если карман оказывался пустым.

– Веди себя хорошо, мальчик, – говорила она изо дня в день, хотя знала, что там, вне дома, мне трудно быть хорошим. Знала, что, сколько бы я ни старался, ей придется снова идти в Сад и с виноватой улыбкой просить за меня прощения.

Я шмыгал носом и впивался зубами в бутерброд. В Саду тоже дадут борщ, с кусками серого мяса и неровными жирными кругами. Все будут послушно есть, и со всеми я, потому что иначе поставят в угол или запрут в чулане на весь тихий час. Впрочем, наказания случались, и я шел на них покорно – они, как борщ, слон и голос матери, были частью моей жизни.

В чулане мне нравилось больше, чем в углу. Темнота, почти полная, кутала, как ватное одеяло. Вещи же, в начале заключения такие простые, со временем делались призрачными и вовсе не похожими на самих себя. Конечно, в чулане стеной висела пыль, и через полчаса я начинал кашлять и задыхаться. Но стояние в углу сопровождалось брюзжанием, а порой и грубыми тычками, которые я особенно не любил.

К шкафам, набитым игрушками, подходить не разрешалось никому, даже Ирусе, воспиталкиной дочке. Безразличие, с каким Ируся глядела на шкафы, не давало мне покоя. Я представлял, как вечером, выпроводив нас за дверь, воспиталка сюсюкает: «Играй доченька, играй миленькая», – и доченька, чуть не срывая дверцы с петель, набрасывается на сокровищницу. Еще я представлял, как вдруг ожившие игрушки мстят за меня Ирусе. Одноглазый пират до синяков стреляет железными пулями, робот твердит: «Дура, дура, дура», а тяжелый паровоз с хрустом переезжает ногу в розовом сандалике.

На прогулках мы ходили по кругу. Не горстками или парами, а в одну линию, друг за другом. Так гуляли заключенные в одной книжке – я видел на картинке, и это меня чуть-чуть подбадривало. Узники, страдающие за правое дело, или жестокие преступники, которых боится даже охрана, – совсем не то, что семилетние мальчики, гуляющие в Саду.

Последние десять минут были вольными. Воспиталка дула в блестящий свисток, и под резкую трель все разбежались в разные стороны – к домикам, лесенкам, шинам, наполовину врытым в землю. Меня тянуло на качели, но занимал их обычно тот, кто больше всех толкался и кричал. А я ни того, ни другого не хотел.

Поэтому я смотрел, как развлекаются остальные, и немного помогал им. Раскачивал лесенки, чтобы по ним было не скучно лазать, кричал в окна домиков веселые слова или рас-

кручивал карусели, отправляя в космос тех, кто успел втиснуться в деревянные креслица раньше других. Однажды в космосе бурно вырвало Мишаньку, и мне навсегда запретили играть на площадке. Свои десять минут свободы я тратил почти бездарно – стоял, вложив руку в потную воспитательницу ладонь, и смотрел вверх...

Лук слезился под ножом, скрипел, ложился ровными кольцами. Картошка рассыпалась кубиками, и, когда мать отворачивалась к плите, я складывал из кубиков разные фигуры. Затем все они – фигуры, плаксивый лук, кружево капусты, худенькая стружка моркови – отправлялись в кипяток и даже не просили о пощаде. Я махал им вслед, как героям, но под столом, тайно, потому что это не касалось никого, кроме них и меня.

Мать мыла руки и прежде, чем вытереться, со смехом брызгала мне в лицо холодной водой. Руки у нее были длинные, узкие, с сетью намечающихся морщин и нитками свежих шрамов. Нос – тоже узкий, с высокой горбинкой. И вся она казалась острой, долгой, покрытой тонкой бесцветной вязью. Я не умел читать эти знаки, но по утрам они успокаивали, помогали оторваться от дома и перешагнуть ту мутную черту, за которой начинался Сад.

Последнее утро детства было холодным. Я босиком стоял возле раковины, безответно крутил ручку с красным круж-

ком, и пятки мои леденели.

– Отключили! – крикнула мать от плиты и глухо добавила: – Иди-ка сюда.

В кухне меня встретили два уголька. Так глаза матери темнели, когда она собиралась сказать о плохом. Я сел на пол и уткнулся лицом в ладони. Между пальцами было видно, как мать помешивает овощи в сковородке и убавляет газ.

– Ну что ты, мальчик?

Я засопел и дернул плечом, словно отгоняя писклявого комара. Реветь мне совсем не хотелось, но и слушать плохое – тоже.

– Еду кое-куда на месяц, – решила мать.

– А это куда? – Я икнул, но все-таки поднял голову.

– Не важно, мальчик. Просто меня не будет тридцать дней.

– А ты оставишь конфет?

Мать улыбнулась:

– Немного.

– А борща?

– Борща... нет, борща не оставлю.

– Что же я буду кушать?!

Мать опустила на пол и взяла меня за подбородок.

– Послушай, мальчик... Тебе не понадобится мой борщ.

Весь месяц ты будешь в Саду, в круглосуточной группе.

Наверное, она ждала, что я начну кататься по полу, орать и лупить по стенам. Так бывало, когда меня загоняли в угол.

Но только не в этот раз.

Про круглосуточную группу ходили всякие слухи. Говорили, детей там на ночь привязывают к кроватям. А кто особо провинится, того заставляют стоять по полдня с вытянутыми руками и приседать десять раз по десять раз. Я как-то попробовал, четыре раза по десять присел и бросил – начало болеть.

Попасть в такую группу, да еще на месяц... сдохну! Зато, если не сдохну, узнаю все – врут ли про кровати, отбирают ли на ночь трусы и сколько новая воспиталка сможет меня терпеть. Но главное даже не это. Из круглосуточной есть выход на черную лестницу, а с лестницы – на чердак.

Год, не меньше, снился мне тот чердак в самых волнующих снах. На прогулке, пока другие летали на качелях и ползали по лесенкам, я, прикованный к воспиталке, смотрел на заколоченные досками окна. Смотрел, пока задранный голова не начинала ныть и кружиться. А вдруг получится? Встать ночью, проскользнуть в дверь, взметнуться вверх и... провалиться в черноту, где живут старые-старые вещи. Где сквозь узкие щели тянет к тебе руки полная луна и булькают голуби, и привидение замученной директрисы глухо ворчит во сне.

Я позволил матери собрать чемоданчик, молча выслушал привычное «веди себя хорошо» и вышел за порог. В чемоданчике, помимо прочего, лежал бумажный пакет, а в нем – шесть конфет и орех.

В круглосуточную меня отправили с самого утра. Наша воспиталка сказала той, потряхивая челкой:

– Приглядывайте за ним, если не хотите неприятностей.

– А что? – Та лениво жевала резинку и смотрела без всякого интереса.

– Узнаете, – сказала наша, – когда он вам полгруппы передушит.

– Гольфиком, – уточнил я и тут же получил увесистый подзатыльник.

Наша воспиталка ушла, а чужая села на маленький стульчик и подтащила меня к себе.

– Значит, так. Сладкое, если имеется, сдать. На нервы не действовать. Приказов слушаться мгновенно. А то хуже будет, ясно?

Я кивнул и открыл чемодан. Чужая заглянула в бумажный пакет и брезгливо фыркнула:

– Да, мамаша-то у тебя щедрая.

Вместо того чтобы плюнуть ей на платье, я сказал себе: «Чердак». И пошел знакомиться с такими же, как я, оставленными без матерей и сладкого.

Компания подобралась печальная. Горохом рассыпались по ковру ясельные, у окошка девчонки тискали куклу – одну и ту же, по очереди, потный очкарик за воспиталкиным столом пялился в книжку. А в углу, прямо у входа, лицом к стене стоял белобрысый в растянутых колготках.

– За что? – спросил я белобрысого.

Он вздрогнул и пожал плечами.

– За что? – повторил я чуть громче, разрубив свой вопрос пополам: «За. Что».

Белобрысый быстро зашептал:

– У Жорки шорты треснули. А чего я, я просто дернул. Смешно же дергать, ну скажи, смешно!

– Смешно, – согласился я и дернул его за колготки...

Чулана с пылью в круглосуточной не было, поэтому до обеда мне пришлось стоять в углу, из которого ревущего белобрысого освободили досрочно.

Суп в тот день дали молочный – полупрозрачный, сопливый. Вермишель разварилась, пенки собрались белыми плевками. Я пустил в плавание кусочек хлеба без корки и смотрел, как он медленно теряет силы и опускается на дно.

– Адовы дети! Хоть бы хлеб жрали. – Бородатая нянечка отобрала моего утопленника и шлепнула на стол тарелку с ленивыми голубцами.

В животе некрасиво запело, и я съел половину – просто чтобы к ночи не кончились силы.

После тихого часа, привычно бессонного, я вместе с другими круглосуточными вышел на прогулку. Воспиталка палкой начертила на земле круг:

– Играй внутри.

Я шагнул в круг, а она бросила мне под ноги пластмассовую формочку.

На земле кверху лапками лежала большая муха. Большая уснувшая муха. Я перевернул ее носком ботинка, но она не очнулась.

– Зеленая, лети!

Муха не шевелилась. Только чуть подрагивали на низком ветру тусклые крылышки.

– Как девчонка! С формочкой! А-ха-ха!

Не оборачиваясь, я выкинул назад кулак. Сиплое ржание перешло в скулеж.

– Ударись в спину – убью, – добавил я спокойно.

Он обежал меня и встал, высунув язык – ну конечно, белообрый. Шапочка у него сбилась набок, на штанах висели комки грязи.

– Ну, выйди, выйди! Что, не можешь? – дразнился он.

– Эй! Вы чего, драться? – Легкий топот, и передо мной появились толстые щеки, вздернутый нос и ярко-синие глаза.

– Не подходи к нему, он бешеный, – буркнул белообрый.

Толстяк наклонил голову, совсем как собака, почесал ногу и прошептал:

– Ух ты, – потом потоптался немного и добавил: – Ты кто, дурила?

Ничего такого он мне пока не сделал, и я ответил ему:

– Зяблик.

– Как это? – Толстяк сморщился, верхняя губа отогнулась,

и оказалось, что у него нет двух или трех зубов.

– Это имя.

– Дурацкое имя! – крикнул белобрысый и на всякий случай отошел подальше.

– Дурацкое, – согласился толстяк.

– А сам ты кто, Васенька? – спросил я его.

Он улыбнулся, сверкнув черными провалами:

– Ванечка.

– Ванькой будешь, – отрезал я, и бывший Ванечка охотно кивнул.

Белобрысый обиженно засопел.

– Пойдем отсюда!

– Не, я остаюсь. – Ванька снова наморщил нос и протянул мне руку.

– Ну и фиг с тобой! – Белобрысый сунул ему в лицо отогнутый средний палец и побежал биться за место на качелях.

Я не завидовал их свободе. Мой круг был не только тюремной, но и защитой – для меня, для мухи, для этого весеннего дня, который весь переполз сюда, за свежую земляную царапину.

– Зяблик, смотри, как мы играем! – Ванька хохотнул и кинулся к песочнице. Девчоночьи кулички, ровным строем стоящие на бортике, превратились в грязные развалины. Худая с косичками закричала, а низенькая в голубом пальтишке горько заплакала.

– Это тебя тот кретин научил? – спросил я, когда Ванька вернулся.

– А кто такой кретин? – щербато улыбнулся он.

– Когда расту во, а ума ничего! Тебе что, три?

– Мне семь! – возмутился Ванька.

– Вот и играй, как в семь.

Воспитав Ваньку, я прислушался к плачу низенькой. Красивые затихающие всхлипы... если бы она продолжала, я бы взял ее сюда, в свой круг.

– А во что играть-то? – Ванька нетерпеливо подпрыгнул.

– Муху будем хоронить. Вот эту. Подорожника принеси.

Он сбегал на край участка и сорвал несколько листьев. Я выложил ими формочку, а сверху пристроил муху. Как положено, лапками кверху. Яму выкопал руками, чтобы оказать мухе больше уважения. Поранился, но ничего – с кровью было еще лучше.

– Ванька, ты – оркестр! Сыграй торжественное.

– Бу! – сказал Ванька. – Бу-бу-бу! – и завыл так тоскливо, что ленивые голубцы медленно поползли от желудка вверх.

За пропавшую формочку я проторчал в углу остаток дня. Было обидно, но сдаться и порушить мухину могилу я, конечно, не мог. Ваньке тоже попало – за то, что играл со мной, а куда делась формочка, не заметил. Отмазывался он как бог – щечки трясутся, глазки на мокром месте, голосок тонюсенький:

– Я не знаю, не знаю, не знаю...

А сам за спиной фигу показывает. Хороший был пацан Ванька, послушный.

Никто меня вечером к кровати не привязал. Трусы тоже отбирать не стали. Воспиталке наверняка хотелось, но она лишь бросила злой короткий взгляд и не менее короткое и злое:

– Спать!

И выключила свет.

Ванька, еще во время ужина подговоренный идти на чердак, замер в своей постели. Я тоже замер, но глаза закрывать не стал. Смотрел, как они лежат, – толстые червяки, засыпанные снегом. Скоро совсем затихнут, провалятся в свои простенькие сны, и мы пойдем...

Воспиталка отключилась быстро и даже сигнал подала храпом: иди, милый Зяблик, дорога твоя свободна. Я встал, сложил одежду толстым червяком, прикрыл червяка одеялом.

– Ванька.

Он пошевелился, чмокнул губами.

– Ванька!..

Толстая щека потерлась о наволочку и обмякла. Спит.

Ладно, каждому свое. Я знал, что там, на чердаке, мне будет лучше одному.

– Ты куда? – Белобрысый соскочил с кровати и начал су-

етливо напяливать тапки. – Меня возьми!

– Отстань! – отмахнулся я.

Белобрысый зашипел:

– Не возьмешь – кричать буду. Все равно не пойдешь, еще и влетит.

– Ладно. – Я улыбнулся одним ртом, широко растянув губы. Он, конечно, ничего не заметил, радостно хрюкнул и стал копошиться – сооружать своего червяка. Потом снял тапки и аккуратно поставил их перед кроватью.

Надо же, – подумал я, – кретин, а кое-что соображает.

Выход на черную лестницу нашелся в туалете. Мы смотрели из пахнущих хлоркой сумерек в полную тьму и молчали. Два босых призрака в трусах.

Первым очнулся белобрысый:

– Нам что, туда?

– Мне – да. А тебе, если надо, на горшок.

– Сам на горшок! – огрызнулся белобрысый и толкнул меня в спину. – Иди первый.

Я снова растянuto улыбнулся и шагнул в черноту. Белобрысый скользнул за мной.

– Свет оставь, – шепнул он.

– Ага, – ответил я и плотно-плотно прикрыл дверь.

Цепкие пальцы схватили меня за плечо, ободрав кожу. Было неприятно. Я сгреб эти пальцы в горсть и сильно сжал. Белобрысый охнул, выхватил руку и рыкнул:

– Придурок!

Стояли молча, не шевелясь. Белобрысый тяжело дышал. Скоро проступили очертания перил, а потом и лестницы. Я начал подниматься и понял – *этот* ковыляет сзади.

Дверь, ведущая на чердак, была теплой и шершавой. И запертой на ключ.

– Закрыто? – с надеждой спросил белобрысый.

– Да.

– Ну и ладно. Пойдем назад, – он дрожал так сильно, что стучали зубы, – холодно, я заболею.

Он трусил.

А у меня был шанс. Один шанс на десять раз по десять.

Я присел и перевернул коврик, лежащий у двери. Зазвенело.

Ключ вошел в скважину легко, ворочался же туго, со скрипом. Дверь подалась, дохнула влажным, и передо мной открылся лаз в тот, другой, мир. Я окунулся в него весь, сразу, от черных вихров на макушке до выстуженных пяток. Я вытянулся рыбой и поплыл, хватая ртом спертый воздух. Мои глаза искали, руки трогали, и стучало в маленький барабан буйное сердце.

– Эй, как тебя там?

– Зяблик.

– Стой. Дальше нельзя.

– Это тебе нельзя. Мне можно.

– Ну пожалуйста, пойдём! – захныкал белобрысый.

– Пойдем, – я махнул в глубину, – туда.

Он заревел. Потом поднял что-то с пола и швырнул в меня. Не попал, конечно.

– Последний раз спрашиваю – идешь?

– Скажу про тебя, все скажу! – В сумраке белообрый был похож на заводную куклу, машущую кулачками.

Я пожал плечами и захлопнул перед его носом дверь. Рев сразу стих, как будто отодвинулся, и тот, другой, мир наконец обнял меня своими сильными руками.

Видел я довольно хорошо – из глубины нового мира вытекали слабые струйки света. Идти на свет сразу не хотелось. Я влез на старый ящик, сел, поджав ноги, и прикрыл глаза. Кто-то невидимый ходил вокруг, дул на волосы, чуть касался лопаток и шеи. Он был свой, этот кто-то, он не собирался меня обижать.

Побежали мурашки. Я понял, что замерз, и двинулся дальше. Дощатый пол скрипел, выпевая разом две мелодии – домашнюю и дикую. Пахло деревом, порошком для стирки, сухим молоком. И еще чем-то очень знакомым, но ни на что знакомое не похожим. Чердак вовсе не был заброшенным. Сюда приходили, и часто. Складывали и забирали вещи, говорили, невзначай роняли окурки, развешивали между балками белье и тихие звуки.

Звуки. В темном пятне у стены что-то стукнуло и зашуршало. «Крыса», – подумал я и с досадой посмотрел на свои

голые ноги.

– Договоримся, – сказал я крысе, но на всякий случай шагнул назад.

Из пятна же шагнуло вперед и замерло, поливаемое светом уличного фонаря.

Девочка – одного со мной роста, в пышном платье, с бантом на макушке и тоже босая.

Я шумно сглотнул и выдохнул:

– Эй!

Внутри дернуло, обожгло, затопило горьким по самые края. Зачем она здесь? Кто пустил ее сюда? Сюда, где все придумал я, я, я?..

Мой мир не был мне верен.

Заболело в груди, стало тяжело дышать. Закричал:

– Я злой, злой! – И начал кашлять, хватаясь за живот.

Девочка молчала. Свет бил ей в затылок, и я не видел лица.

Грубо, рывком развернул ее к окну, заглянул в глаза.

Там не было ничего – только я, маленький семилетний я, очень напуганный и очень злой. В красивых глазах красивой девочки – урод, скрюченный, скользкий, мятый.

Больно, больно в груди и животе. Нечем дышать. Я схватил с подоконника что-то тяжелое и со всего маху саданул этого уroda. Потом еще и еще раз. Девочка закричала, схватилась за лицо, из-под пальцев ее потекло темное...

Меня принесли с чердака, покрытого испариной и слезами. Я звал, просил прощения, рвался обратно. Но меня держали, и я видел только белые стены и мутные пятна чьих-то лиц.

Она пришла. Через девять лет, когда от моего разбитого детства не осталось ни осколков, ни воспоминаний. Я полюбил ее, как полюбил бы себя – того себя, у которого детство не закончилось в семь.

Глава 2

Кто ты такой?

Алине шестнадцать лет

Он смотрел тяжело, исподлобья. Тускло смотрел, вязко, с каким-то тошнотворным прищуром. Кривил рот, молчал и ждал. Ждал, когда она подойдет ближе...

Алина шумно вздохнула, как всхлипнула. Устало прижалась лбом к стене. Он был напечатанный, этот гадкий человек. Приколотый желтоголовыми булавками к стенду «Информация». Он пах бумагой и краской. И не мог дотянуться до нее.

Прошептала:

– Кто ты такой?

Облизала губы. Горько. Не страшно, но как-то маетно. Как во сне, когда бежишь, бежишь, а все на том же месте. И ноги ватные, и воздух натягивается, как полиэтиленовая пленка...

Разыскивается Хасс Павел Петрович, 50 лет.

Находится в состоянии психической нестабильности. Опасен для окружающих.

При встрече не вступайте в контакт. Позвоните в поли-

цию.

– Алиночка, детка, вот тебе цветы! Ты что такая? Не нравится, да?

Мама. Белоснежная как невеста, вся в накрахмаленных кружевах. Рот – пунцовым бантом, русые кудряшки – пружинами. Строгая второклассная училка. Ну ладно, ладно, училка второклассников. Встретила своих птенцов, по партам рассадила, дань букетную собрала. Из этой дани Алине и перепало. Первосентябрьское б/у.

– Что-то ты бледненькая, а? – Мама втиснула в потную Алинину ладонь лохматые астры. – Где болит?

Не болело нигде. Но со стенда смотрело – муторно, дико. Мама скользнула взглядом по этому дикому, охнула и шлепнула Алину по лицу, закрывая рукой глаза.

– Мама! – Алина вывернулась из-под жарких пальцев.

– Не смотри, не надо!

– Да я не смотрю!

– Ты будешь волноваться, милая. А тебе нельзя, ты же знаешь, – мама вымучила улыбку, – иди на свой классный час, иди...

Но Алина уже волновалась. Дрожали руки, тяжелело в животе, и запах у астр был нестерпимо терпкий. Она начала считать ступеньки, сперва медленно, потом торопливо, сбивая дыхание: «...цать три...цать четыре...цать пять...» Ко-

лотилось сердце, и дети разных размеров мелькали цветными пятнами.

Однажды это было так же, только не на стене, а кажется, на самом деле – злые глаза, оскал кривых зубов, запахи крови и старого пота. Крик, вой, земля, уходящая из-под ног. Кажется, было... Но где и когда? Память скулит, тасует картинки, подсовывает по одной, но все не то, не то... А было ли вообще?

– Стой, несчастная! Заблудился. С тобой пойду.

Алина резко обернулась, хлестнув волосами по жесткому чужому плечу. Новенький. Тот самый, неприятный, который ударил ее полчаса назад.

Случилось это на линейке. Стояли уже долго, устали. Табличка «10-Б» в руках круглощекого Ваньки ходила маятником. Алина, вялая, анемичная покачивалась не хуже таблички. На словах «школа гордится» закружилась голова, повело назад. Алина отступила и придавила каблуком чью-то большую ногу. И тут же в спину прилетело. Больно, до слез. Обернулась. Там стояли двое, оба незнакомые. Один – лохматый, весь в черной коже и металлических заклепках. Брови густые, взгляд недобрый. Второй... тут Алина ослабела еще раз. Тонкий, светловолосый, чистый-чистый. Как в облаке...

– Простите! – бросила она чернокожему, по светлому же скользнула глазами и вся вытянулась, будто расправила крылья. Тот приподнял бровь, как бы спрашивая: «Что?», и Алина поспешно отвернулась.

Чернокожий шаркнул ножкой и распахнул перед Алиной дверь:

– Вползай!

Алина, все еще обиженная за тот тычок, прошла молча.

На нее тут же навалилась ярмарочная пестрота – краски, запахи, вскрики, смех. Люди. Слишком много людей. Сейчас, когда так нужно забиться в нору и пережить назревающую панику. Люди... Давно не виделись и теперь судорожно запикивают друг в друга ненужные слова. Вздрагивают локоны, растягиваются напомаженные рты, гудят на низких нотах мужские голоса. Взгляды, резкие, как лазерные лучи, опутывают комнату тонкой сетью. Одни высматривают добычу, округлившуюся, созревшую за лето. Другие, та самая добыча, подтягивают повыше юбки, поводят плечами, довольно жмурят глаза.

На Алину не смотрит никто. *Так* не смотрит. Все ее платье, как приживалки в богатом доме, одинаково неказисты. Ноги под ними – сухие макароны. Грудь почти детская, рот лягушачий. Комаров таким ртом ловить. Или мух.

Жаль, что не смотрят... грустно, завидно. Хорошо, что не смотрят, и что парта – первая. Можно застыть, сделаться

прозрачной. Подышать.

...Хасс Павел Петрович. Разыскивается. Ходит по городу, скалит пасть, тянет руки. Воем от скуки и голода. Смотрит в щели, стирает слюну в углу изогнутого рта. Ждет.

– Эй!

Алина дернулась, и свет залил ей зрачки.

Желтая солома над синими бусинами глаз... плотная россыпь прыщей.

– Ванька! Какого?..

– Не спи, дурила! Смотри, что у меня.

Из пухлого кулака на парту вытекла золотая цепочка.

– Откуда?

– На улице нашел, вчера. – Ванька улыбнулся, на щеках его появились глубокие ямки.

А там, наверное, тепло... Алина чуть не сунула в ямки замерзшие пальцы.

– Хочу подарить одной, – шепнул ей Ванька в самое ухо, – но не знаю, может, не возьмет.

Алина коснулась было цепочки, но отдернула руку. Натянула капюшон толстовки. Спряталась.

– Только не говори – кому. Не хочу знать. Не могу.

Не сейчас, не в эту самую минуту, когда рвется горло и отвратительный Хасс, ухмыляясь, выходит на охоту...

– Ладно. – Цепочка снова исчезла в Ванькином кулаке. – Не пристаю.

Он еще повозился рядом, потом нетерпеливо потряс Алину за плечо:

– Слушай, а ты того белобрысого знаешь? Знакомая морда.

Алина пожала плечами. Морда! На себя посмотри!

– Где-то я его видел... Черт, никак не вспомню, прямо ломает всего!

– Может, в кино? На какого-нибудь Брэда Питта похож.

– Да иди ты, – отмахнулся Ванька, – тоже мне, Питт! В жизни я его видел, Питта этого, а не в кине твоём. Но где, елки-палки, где?..

Он пересел за свою парту и с потешным недоумением уставился на новенького.

В класс вплыла Борисовна, вся праздничная, с высокой гулькой и темно-морковными ногтями. Пальцы в облупленных кольцах, на крупных ушах – бледные капли сережек. Алина вздохнула под капюшоном. Прежние, почти африканские серьги нравились ей куда больше. Покачиваясь, они хрипло тянули «и-и-е-е-е...», и Борисовна делалась похожей на седую негритянку с коровьими глазами.

Все встали, гремя стульями. Красавица Ермакова, староста, выбежала с букетом. Оттараторила заученное «Дорогая-алла-борисна-с-новым-учебным-годом-пусть-

он-будет-очень-очень-хорошим...» и сделала глупый книксен. Верзила Горев фыркнул, а Ванька так воодушевленно уставился на загорелые Ермаковские ноги, что Алине захотелось его треснуть.

Борисовна чопорно приняла белые гладиолусы, кивнула:

– Спасибо, Инга! Очень красивые.

– Не, ну нормально?! – Тощий Дерюгин, почему-то прозванный в классе Медведем, шлепнул по парте дневником. – Как будто одна Ермакова с цветами пришла!

– Подарите и вы, Антон. – Борисовна протянула сухонькую ручку.

Той же чести удостоились отличница Карина Дасаева и подруга Ермаковой Анютка, похожая на приболевшую овцу. Остальные букеты было велено положить на стол. Алина шмякнула астры поверх общей кучи и снова затаилась под капюшоном.

Борисовна оглядела цветочный монумент, удовлетворенно кивнула и поманила кого-то с задних рядов:

– Вы двое, идите сюда.

Чернокожий и тот, светлый, вышли к доске. Светлый почему-то с рюкзаком.

– Ребята, вот наши новенькие. Игорь Ситько и Александр Чернышов.

Чернокожий, звякнув металлом, растрепал каштановые вихры и заученно пробасил:

– Чёрнышев! Ударение впереди, после «ш» идет «е», –

потом добавил: – Зовите меня Алекс или Винт, последнее рекомендуется.

– Давайте-ка без винтов! – поморщилась Борисовна. – И о форме одежды подумайте. Что ж вы звените, как раб на галерах?

– Говорили, форма у вас свободная, – с чуть заметной агрессией ответил Винт.

– Свободная – не значит вызывающая. Садитесь!

Алекс, он же Винт, ушел вглубь, к уже выбранной парте. Игорь пробежал глазами по классу, улыбнулся и... помахал Алине.

– Одна ли вы, милая леди?

– Нет, – прохрипела леди, – со мной Кира, она скоро придет.

– Как жаль, – покачал головой Игорь, – тогда разрешите... разреши... хотя бы на пару дней.

– Да мне-то что, садись.

– Спасибо! – Он подмигнул ей и тут же устроился рядом.

Зачем, зачем было к ней? Там, сзади, полно свободных мест. И слева пусто, перед учительским столом. Но нет! Ему надо сюда! Влез со своим теплом, запахом смолы и гвоздики, разложил чистенькие тетрадки, затаился как паук... Плохо видит? Вряд ли. Тогда в чем же причина? И это издевательское «леди»... Хотелось оттолкнуть, крикнуть: «Уйди!», а потом схватить за руку, сжать до боли и умолять: «Останься,

пожалуйста, останься!..»

Алина скосила глаза. Мужская рука, а такая изящная! С ровными ногтями и тонкими линиями вен. Сильная, чужая, властная, не оставляющая никакого шанса на спасение. Почему хозяин этой руки – здесь? Не там, с одной из двенадцати, что разодеты в пух и прах, а здесь, с недокормленной мартышкой Алиной Седовой?

Рука сползла под парту, высунулась снова, и на Алинин раскрытый дневник легла шоколадная конфета в ярком фантике. Конфета? Ей?! Алина испуганно сжалась. Здесь явно был какой-то подвох. Но какой? Там, внутри – бумажка? Или Игорь хочет пошутить, дернуть за нитку, чтобы ррраз, и конфета с хрустом выскочила из пальцев? Или это благотворительная акция – сладкое некрасивым одноклассникам?

– Спрячь! – жарко прошептали Алине в ухо.

– Нет, – ответила она, немея от макушки до жесткого копчика.

– Почему?

– Потому что не хочу.

– Ну и зря.

Игорь легонько толкнул ее ногой и отвернулся.

«Ты правильно поступила, детка!» – сказал в голове твердый мамин голос, а другой, собственный Алинин, прорыдал: «Ты дура!»

«Да!» – ответила Алина обоим и погладила обожженное прикосновением колено.

Конфета так и осталась лежать на дневнике.

В дверь постучали. Борисовна сделала недовольную гримаску, крикнула:

– Войдите!

Милиционер, или на новый лад – полицейский. Немолодой, щуплый, с запахом нестиранной одежды и табака.

Борисовна напряглась, гулька качнулась и замерла в нелепом наклоне.

– Не жда-а-али! – протянул верзила Горев и по-петушиному хохотнул. – Рано вы, Клим Иваныч, примерный я пока! Вот грабану старушку...

– Горев! – Борисовна стукнула линейкой по столу. – Не позорьтесь!

– И то верно, – Клим Иваныч пригладил усики, – грабанешь, тогда и разговор будет. А сейчас другое дело у меня. Важное. Вот.

Бумажный шелест, и...

Хасс! Павел. Петрович. Смотрит с помятого плаката прямо Алине в глаза.

– Бродит тут у нас один тип. Мерзейший тип, больной на всю голову. Вы уж запомните его. Увидите – не бегите, чтобы не погнался за вами, а тихонько так, бочком уходите. И нам звоните сразу.

– А он маньяк? – слабым голосом спросила красавица Ер-

макова, заметно бледнея под макияжем.

– Да считайте, что маньяк, – охотно согласился Клим Иванович, – нервный, броситься может, обидеть, особенно девочек.

– А я его знаю! – как-то радостно сказала Женя, которую в классе дразнили блаженной.

– Видела? Где? – мгновенно посуровел Клим.

Борисовна подалась вперед, и ее висящие на шнурке очки ударили Алину в переносицу.

– Во сне. Он большой, качается, и пена изо рта.

– Семакина, не нагнетайте, – устало вздохнула Борисовна и поймала расшалившиеся очки, – вечно вы... Ведь неглупая девушка, а что несете?

– Ну пена не пена, а бешеный он – это правда. И главное, прячется, зараза. А где – неясно. Мы уж и маргиналов подключили, а все никак. Но вы не паникуйте. Просто будьте осторожны. Городок у нас маленький. Найдется. Если, конечно, в соседний не сбежит. А сбежит – так нам и лучше. Другие ловить станут.

Борисовна сверкнула серебряным зубом – улыбнулась неловкой шутке. Отличница Карина крепко зажмурилась, а Женя сделала себе роскошные усы, зажав кончик косички между носом и верхней губой. Весь ее вид говорил: да чего вы боитесь, глупенькие, ведь это всего лишь маньяк.

Клим Иванович давно ушел, но Алине казалось, что все они

здесь – сам Клим, облачко его несвежего запаха и мятый, плохо пропечатанный Хасс. Она даже не слышала звонка с урока и, когда другие зашевелились, осталась сидеть, аккуратно сложив на парте руки.

– Ты чего? – Игорь заглянул к ней под капюшон. – Трусишь?

– Нет, – ответила Алина и отодвинулась.

– Да брось! – Игорь мягко потянул ее за рукав. – Нужна ты этому маньяку! Если уж он кого и съест, так скорее вон ту, с малиновой помадой. Кстати, о еде. Где тут у вас столовка?

Алина неопределенно махнула вниз.

– Понял, на первом этаже. До новых встреч, чудесная леди!

Убежал. И правильно. Какого черта он должен возиться с незнакомой девчонкой, которая распсиховалась из-за ерунды? С местной ненормальной, которая только и знает, что твердит «нет, нет, нет»... А ведь хотелось, чтобы повозился. Очень-очень хотелось.

«Ты неинтересная, – сказала себе Алина, – запомни и расслабься навсегда. Даже маньяк выберет Ермакову, а не тебя. Потому что у нее малиновая помада, мощная грудь и ноги от ноздрей. А у тебя – ничего, только лягушачий рот и „нет“, застрявшее в горле».

Но Хасс пришел не за Ермаковой. Алина была уверена в этом на все сто пятьдесят.

Одноклассники гудели – негромко, чуть успокаивающе. Алина плыла в этом звуке, словно на маленькой лодочке, то ровно, то мягко кружась, то утыкаясь носом в берег. Там, на берегу, шипело по-змеиному – хассс, хассс, хассс... Пока далеко и потому негромко, но сердце ныло, и хотелось лечь на лодочное дно и летаргически крепко уснуть.

Она снова была девочкой – босоногой, в пышном платье и с присыпанными песком волосами. Кто-то придумал песочный фонтан, и все купались в нем, хохоча и прикрывая глаза. Потом висели на заборе, кричали, а за забором метался и мычал грязный ватник со вспоротыми швами. Забор давил на живот, и Алину тошнило, как после каруселей. Ватник разевал черную дыру рта, видно, и его мутило тоже, и огрызки толстых ниток торчали, будто порченые зубы...

– Седова!

Алина вздрогнула и ткнулась носом в какую-то бумажку.

– Ваша карточка, Седова, с заданиями! И снимите, наконец, колпак! – Твердым ногтем Борисовна поддела край капюшона.

– Крепкие нервы, да? – Верзила Горев качнулся на стуле. – Все трясутся, от маньяка прячутся, а тут хоть кол на голове! Спит наша деточка.

– Я не думаю, Горев, что это предмет для шуток, – Борисовна сдвинула брови, – начинайте, Алина. Я вам вариант

посложнее дала, можете не успеть.

Вариант посложнее... какой вариант? Алина глубоко вздохнула, надавила ладонями на глаза, привычно потеряла разрезанную шрамом бровь. Вынырнула на свет.

Она снова на уроке. Ей шестнадцать. Этажом выше мама читает второклассникам Тютчева. Толстый Ванька за соседней партой тайком жует печенье. Вот здесь, рядом, красивая мужская рука мелко пишет в клетчатой тетради. Старый ватник, чей бы он там ни был, давным-давно превратился в гниль.

Двадцать третий кабинет – чистый, залитый солнцем, тонущий в зеленом, словно тропический островок.

Всюду листья, листья, длинные и круглые, резные, мясистые. Из зарослей выглядывают писатели. Пушкин соседствует с Милном, Стивенсон – с Кафкой, Тургенев с восторгом глядит на Аготу Кристоф, которая почему-то не Агата и не Кристи. Сама же Агата, обвитая плющом, гнездится у дальнего окна.

Голос у Вареньки, Варвары Сергеевны, чуть хриплый, теплый, будто обнимающий. Можно слушать, слушать его, свернувшись в клубок, и совсем ничего не бояться. Даже сейчас, когда стих такой лихорадочно-рваный. Да, кому-то больно, но не тебе же, не тебе...

Алина, согревшаяся, мягкая, рисовала на бумажном клочке лабиринт. В центре – точка, едва заметная, – сама

Алина. В коридорах – разные звери, оскаленные, злые. На выходе – палка, палка, огуречик. Это Игорь. В руках у него меч с граненым клинком и цветок хризантемы.

Усмехнулась. Густо, беспросветно покрасила человечка. Получившемуся комку приделала зубы. Написала мелкими буквами: *хасс*.

– Все-таки боишься. – Игорь устоял в упор на горбоносый Алинин профиль.

Алина вспыхнула и невольно прикрыла шрам. Тут же обругала себя дурой.

– У тебя греческий нос, – сказал он очень серьезно.

– И что? – буркнула Алина.

– Ничего, просто красиво.

Ага, как же! Горбун – куда там красивее? Врет и совсем не краснеет!

Зато маково-ярко краснеет Алина. Краснеет и думает: «Я убью тебя, если ты врешь!»

После урока верзила Горев, почесывая стриженный затылок, спросил:

– Варвара Сергеевна, а вы про маньяка слышали?

– Ну почему сразу маньяк, Дима? Просто больной, несчастный человек.

– А если этот больной и несчастный бросится на вас? Вы красивая, мало ли!

Красивая. Алина съежилась. Никогда-никогда, даже в

двадцать пять, она не будет такой легкой, праздничной, милой, как белокурая Варенька.

– Вот-вот! – поддержала Ермакова. Ее, разумеется, тоже беспокоило, как выжить красавицам в подпорченном Хасом мире.

– Да ну вас! – рассмеялась Варенька. – Сами себя пугаете. Сидите по вечерам дома, и ничего не случится.

Как только Варенька вышла, Ермакова захлопала в ладоши, требуя тишины.

– Объявляю конкурс! Кто будет провожать меня до школы и обратно? Медведь не участвует. Он хилый.

– Да пошла ты, – фыркнул Медведь.

Нерешительно поднял руку Ванька. Ермакова прыснула и покачала головой.

– Ну я могу. – Верзила Горев размял свои длинные сто девяносто, схватил Женин деревянный угольник и разломал пополам. – Во я какой!

Обломки угольника звонко стукнулись о парту.

– Прости, блаженная.

– Ерунда, – отмахнулась Женя, – я его совсем не любила.

– Ладно, сегодня Горев, – решила Ермакова, – а там посмотрим.

Солнце спряталось, и в классе сразу посерело. Оттенки зеленого пропали, смешавшись в общую кашу. Пахнуло пре-

лой землей. Доска, испещренная бледными шрамами, запылилась и зашершавилась.

Шрамами... Алина снова прикрыла бровь. «Ты упала с велосипеда», – говорила ей мама. Но никаких велосипедов Алина не помнила. Разве что тот, Юркин дряхлый «Школьник», на котором они летели вдвоем и кричали от страха и глупого счастья. Вот только об этом велосипеде мама ничего не знала.

Игорь повернулся к Алине:

– А моя леди нуждается в провожатых?

– Леди вообще не нуждается, – отрезала Алина и мысленно отвесила себе пару оплеух.

– Но почему? – растерялся он.

Алина не ответила.

Голубые глаза... ясные, льдистые. Бывший гость Снежной Королевы. Вернулся домой, но не оттаял. Да только Алина – не Герда. И пусть этот Кай спасает себя сам.

– Не злись. – Ермакова подергала Медведя за патлы. – Ты же понимаешь, мне большой телохранитель нужен. Самый большой. А ты, если хочешь, вон Женечку проводи!

– Я че, дебил? – возмутился тот.

– Не надо меня провожать, – взметнулась Женя, – что вы!

– Вот блаженная! – восхитился Горев. – Всему верит!

– Эй, Женька! – крикнули с задней парты. – В магазине за углом детские головы продают!

Женя обернулась и спокойно сказала:

– Не может быть.

– Да она еще дурее стала! – Овца Анютка сморщила бесцветное личико.

– Болеет, – притворно всхлипнул Горев, – это болезнь, да, Седова? Скажи, ты же у нас того... умная.

Алина выплыла на поверхность. Ухмыляются. Все. Даже Ванька задорно глядит сквозь узкие щелочки. Ермакова так просто счастлива – малиновый рот растянут до ушей.

Уползла в глубь капюшона, бросила:

– Не знаю.

Женя медленно собрала вещи. Поднялась, надела на плечи старенький, кое-где зашитый рюкзачок. Помахала рукой.

– До завтра, ребята, и... будьте осторожны.

Когда за ней закрылась дверь, Винт треснул кулаком по столу и выпалил:

– По шее бы вам!

В классе засмеялись.

Маленькие цепкие лапки тянулись к ней со всех сторон.

– Алина, привет!

– Алина, мы скучали!

– Алина, смотри, что у меня!

Теплые, живые. Быстрые как полевки. Мамины второклассники.

Обнимают, подставляют под руку выгоревшие макушки,

тянут за юбку...

Хорошо.

Алина улыбнулась – впервые за этот исчерканный событиями день.

Над школьным двором висела рваная туча с фиолетовыми краями. Было по-летнему душно, и от этого тянуло в сон. За углом слышались глухие удары и крики, пронзительно свистело – после уроков мальчишки играли в футбол. Игоря тоже утащили на стадион, и он успел только шепнуть «Пока!» и сунуть в карман Алининой толстовки ту злополучную конфету.

Детское озерцо пошло рябью, заволновалось, загудело. Кто-то схватил Алину за палец, царапнув острыми коготками.

– Климов, Климов!

Бесформенная каракатица, выкатившаяся из-за школы, распалась на части – взвинченная Алинина мама и двое размахивающих кулаками мальчишек.

– Дерутся, – восхищенно выдохнула тощая Тонька.

– Сама ты дерешься, – хмыкнул Иванчиков, прилизанный, с девчоночьи пухлыми губами. – А Климов бьет.

– Зачем? – спросила Алина без интереса, просто чтобы не молчать.

– Он чужой, – сверкнула Тонька щербатым ртом, – и Леночку обижал.

Мама тем временем чужого отогнала, и он, ссутулившись,

побрел в сторону гаражей. Климова же грубо поддела за шиворот и потащила к крыльцу.

– Ну влетит ему сейчас. – Иванчиков даже голову в плечи втянул. – Говорили же, от дверей не отходить.

Сердитая, с раскрасневшимся лицом, мама и сама казалась чужой. Училка, вышедшая из берегов... Будто и не она вовсе вытолкнула Алину в мир. Да, кто угодно, но только не эта приплюснутая шахматная ладья – с тяжелым низом и крашеными кудрями. Алина даже не помнила, какого цвета ее настоящие волосы.

– Драться он вздумал! – Мама трясла марионетку-Климова, и та, бессильная, смешно сучила ножками.

Тонька подобралась поближе, заглянула в Климовское лицо и взвизгнула:

– У него кровь!

– Та-а-ак! – Мама налилась багровым. – Живо в медпункт! Потом с тобой поговорю. А вы что собрались? Гулять, гулять!

Птенцы отпрянули от наседки и разбрелись по пятаку двора.

– Детка, ты домой собралась? – Мама смотрела на Алину с неприятной чуткостью.

– Да, у нас всё.

– А подожди-ка меня. Через часок-другой детей разберут, вместе пойдем.

– Долго, мам, я не хочу.

– Долго, зато безопасно. Я что-то так волнуюсь, милая...

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК...

Холодным камнем Алина пошла на дно. Зачем, зачем она напомнила?

– Не ночь же, мама, что со мной случится?

Ветер дунул в глаза, протащил смятую банку из-под кока-колы, шевельнул готовую расплакаться тучу.

Может, и правда остаться? А потом – как второклассница, с мамой за ручку. Страх будет смотреть из каждого окна, но не подступит, не тронет, не заставит бежать, роняя остатки разума на пыльный асфальт.

– Пойду я. – Алина выдернула руку из маминых пальцев.

– Упрямая, – вскинулась мама и привычно вбила гвоздь до самой шляпки: – Вся в отца!

Да, она вся была в отца – упрямая, тихая, скрытная, витающая там, где никто не живет. Слишком много читала сказок, слишком мало хотела делать по указке. Но делала, конечно, делала. И была хорошей девочкой – для всех, кроме себя самой.

Правда, по маминой же версии, внешне она на отца не походила. Темные волосы, худое, длинное тело, выгнутый нос – все это от бабушки, давно уже спящего на местном уютном кладбище. А отец... Алина видела его так давно, что лица не осталось в памяти. Не осталось и фотографий – мама, одинокая и обиженная, выбросила их пятнадцать лет назад. Где

он? Какой он? Алининой ли породы – боится темноты, любит клубнику со сметаной, не умеет плавать, пишет сам себе письма и прячет их в картонной коробке из-под обуви?..

– Через пустырь не ходи, – шпиговала ее мама полезными советами, – внимание к себе не привлекай и перед входом в подъезд оглянись, обязательно оглянись, поняла?

Ледяная рука мягко взяла Алину за жабры и потянула – идем. Пока, мама! Я – одна. Надеюсь, скоро увидимся.

Натянув капюшон, она решительно переступила черту, отделяющую школьный двор от территории врага.

На двери продуктового висел портрет – тот самый. Алина застыла, вглядываясь. Да, лет пятьдесят, круглое лицо, толстые губы, нос – бесформенная картофелина. И бешеные, совсем бешеные глаза. Таких у людей не бывает.

– Ну, чего встала-то? – Небритый мужичок в просаленной кепке толкнул ее в плечо.

Плеснуло перегаром, и Алину снова затошнило. Она отошла подальше, потирая ушибленное место. Нет, сегодня придется обойтись без кефира. Надо домой, скорее домой – в спасительную тишину прохладных комнат. Включить повсюду свет, задвинуть шторы. Помыть посуду и пол, перестелить постель, протереть и без того чистые полочки. Занять себя хоть чем-нибудь. Через пару часов придет мама, и мир немного оттает.

Но это потом.

А сейчас надо идти по людным улицам и оборачиваться, все время оборачиваться.

Как оно бывает, когда тебя выслеживают? Вот ты шагаешь, такая веселая, мирная, в пестрых гольфиках... тра-ля-ля... что же приготовить на ужин? И тут... Стой! И чьи-то руки сжимаются на горле, и вспухает пузырями пульс, и застревают в легких совсем не сахарный песок.

Так бывает, когда ты дура. Когда белокурый принц говорит тебе – я пойду с вами, милая леди. Но леди воротит сопливый нос и чешет одна. По самым людным улицам.

А вдруг она и правда понравилась ему? Как в сказке, с первого взгляда? Такая, какая есть, – Золушка без феи. Хоть и перепачканная сажей, но под сажей – клад.

– Склад, – усмехнулась Алина, – шурупов и гвоздей.

Слишком он хорош, этот Игорь. Хорош и опасен, потому что ноет от него – вот здесь, под значком-мухомором, приколотым с левой стороны. А значит, надо бежать прочь, и быстро бежать, как на стометровке.

– А-а-а-а!

Это был даже не крик. Визг. Вой. На каких-то несуществующих нотах. Рвущий, сбивающий с ног, выгибающий тело эпилептической струной. На секунду Алина потеряла все – зрение, осязание, слух, наполнилась кипящей кислотой.

Потом, преодолевая помехи, в ее пустой голове тихо сказали:

– Хасс. Режет.

И она снова начала видеть.

На газоне, широко расставив ноги, стояло существо. Низенькое, худое, в длинной сизой куртке. Подросток без пола. Существо орало, широко раскрыв рот, а рядом, согнувшись пополам, заливисто хохотал приятель существа.

Просто шутка. Вот они уже оба смеются, толкают друг друга, топчут кучерявые бархатцы. Ветер путает им волосы, треплет листы вывалившейся из портфеля тетради. В густую Алинину черноту вползают пятна серенького дня.

Туго закрученная пружина разжалась, и Алина побежала. Так, как никогда не бегала стометровку – собранно, резко, до сведенных судорогой икр. По мелкой пыли, покрывающейся первыми кляксами дождя. Через пустырь – вопреки всем маминым советам.

Она неслась подстреленным зайцем, прыгая через бугорки подсыхающей травы, осколки кирпичей, втоптаные в глину молочные коробки. За спиной то и дело слышалось «бух-бух-бух-бух-бух». Это мнимый Хасс в охотничьих сапогах мчался следом. Алина оборачивалась, обшаривала иссеченную дождем пустоту и прибавляла скорость. Когда в очередной раз она, чуть не свернув шею, оглянулась, толстый булыжник нырнул ей под ноги. Заспинное «бух-бух» смолкло, и Алина с размаху шлепнулась в грязь.

К чьим-то рыжим ботинкам на очень толстой подошве.

Сверху, почти с самой тучи, сказали:

– Только не реви!

Алина, баюкая ушибленную коленку, медленно подняла глаза. Самые обычные джинсы, серый свитер грубой вязки, черные волосы до плеч. Мальчишка лет шестнадцати, стоит себе, руки в карманах и даже не пытается помочь.

– Привет, – сказал мальчишка, – вставай.

Но рук из карманов не вынул.

Алина, неловко оправляя испачканную одежду, поднялась.

– Кровища? – хмыкнул мальчишка и носком ботинка поддел край Алининой юбки.

– Дурак, что ли?!

– Сама дура.

Он вытащил носовой платок, подержал его под дождем и протер разбитое колено. Потом тем же платком привязал к ранке мясистый подорожник.

– Все, жить будешь, не помрешь.

– Спасибо, – сдалась Алина и первый раз посмотрела ему прямо в глаза.

Черные-то какие! А лицо бледное, белое почти. Прямо вампир из книжки.

– Ну пока. – Мальчишка качнул тесемку Алининого капюшона и пошел к старым сараям, зябко поеживаясь внутри намокшего свитера.

И тут Алина разревелась. Громко, в голос. Сбросила рюк-

зак, пнула его ногой, еще и еще раз. Выдернула из кармана подсунутую Игорем конфету, отшвырнула в крапивные заросли. Спряталась за волосами, покрытыми водяным бисером, крикнула:

– Не хочу, ничего не хочу!

– Зовут-то тебя как?

Вернулся.

Тонкими пальцами раздвинул занавес ее волос. Щелкнул по носу.

– Алина, – проскрипела она.

Рыдать почему-то совсем расхотелось.

– А ты кто такой?

– Зяблик. Капюшон надень.

– Как это – Зяблик?

– Никак. Просто Зяблик, и всё. Проводить тебя?

Алина замялась, потом с благодарностью выдохнула:

– Да.

– А ведь ты чего-то боишься. Чего?

– Не знаю...

– Знаешь. Скажи! – Зяблик подал Алине рюкзак словно пальто.

– Джентльмен, – съязвила Алина, просовывая руки в лямки.

– Твой рюкзак – ты и носи, – улыбнулся он, – так что у нас там со страхами?

И правда, что? Ведь не было, ничего же не было. Вот только страх, да. Страх был всегда – едкий, жгучий, затекающий в глаза и уши соленой водой. Он приходил без причины, опрокидывал и снова исчезал на дни и месяцы. Но не такой, как сейчас, совсем не такой...

– Ничего! Были страхи да вышли.

– Не верю, но дело твое. Вперед!

Зяблик шмыгнул носом и кивнул в сторону Алининого дома, будто точно знал, куда нужно идти.

Дождь отодвинулся к реке, оставив после себя легкую морось и ошметки облачной ваты. Пустырь, скорее подмоченный, чем умытый, звонко чавкал под ногами. Алина сняла насквозь промокшие туфли и шла босиком, рискуя распороть пятки битым стеклом.

– Давай кто выше кинет. – Зяблик поднял небольшой камень. – Если ты, значит, скоро война. А если я, то мы с тобой умрем. В один день.

– На войне?

– На самом деле.

– Не буду кидать, – насупилась Алина.

– Как хочешь. А я кину.

Зяблик размахнулся, выбросил руку, и камень серой пулей взмыл вверх. Повисел немного и, разрезая плотный воздух, пошел обратно. Плюх! Алину обдало холодными брызгами.

– Ты что?! – возмутилась она.

– Грязному – грязь, – весело сказал Зяблик, – все честно.

Одежда липла к телу мокрыми тряпками, Алина мерзла и громко хлюпала носом. Сейчас бы горячего супа – куриного, с мягкими гусеницами макарон. И чтобы никто не стоял над душой и не твердил извечное «ешь, а то из-за стола не выйдешь». Сидеть на теплой табуретке, поджав под себя ноги в шерстяных носках, слушать сип закипающего чайника, и ложка за ложкой...

– И все же, от кого ты бегаешь? – Зяблик то ли улыбался, то ли просто кривил губы.

– От себя, – огрызнулась Алина.

– Это не ответ.

– Тогда скажи, почему ты Зяблик.

– Потому что.

– И это не ответ.

– А разве я должен тебе отвечать?

Вот нахал! Алине захотелось обидеться на него, прямо до слез. Но слез не было. Как не было и страха, сжиравшего ее еще полчаса назад.

– Где ты живешь? – спросил он.

– Космонавтов, одиннадцать. А ты?

– Космонавтов, одиннадцать.

– Как это? – оторопела Алина. – Я тебя не видела никогда!

– Ну, значит, я вру, – усмехнулся Зяблик.

И снова Алина не смогла обидеться на него, как ни стара-

лась.

На скамейке возле подъезда, подложив полиэтиленовый пакет, сидела Татьяна Петровна из восьмой квартиры. Сморщенные ручки крепко держали книгу, обернутую в газету. Алина поздоровалась.

– Участковый приходил, – прошамкала соседка. – Говорит, полоумный у нас тут завелся. Фотку его приклеил на дверь, да я содрала. Поганый больно.

Согревшуюся было Алину снова зазнобило.

– Вы что, Татьяна Петровна? Его же ищут!

– А ты старших-то не учи! – Соседка, охнув, поднялась, запахнула сизый плащик и похромала к соседнему подъезду. Видно, собиралась содрать очередного поганого Хасса.

Зяблик, на время разговора словно растаявший в воздухе, потянул Алину за рюкзак:

– Пойду я. Ничего не хочешь мне сказать?

– Не знаю, – растерялась Алина. – Ну... платок твой... постираю, отдам.

– Это не ответ.

Он развернулся и сделал шаг. Потом другой, третий... На пятом Алина заволновалась, скрутилась тугим узлом. Крикнула ему в спину:

– Кто ты такой?!

Не оборачиваясь, он ответил:

– Зяблик.

И побежал по присыпанному желтеющими листьями асфальту.

Глава 3

Старые лица

Мне – шестнадцать

Под дверью Берлоги чернела дыра. Кто-то рыл землю – широкими гребками, торопясь, захлебываясь. Рыл недавно, и часа не прошло. Однако не дорыл. То ли спугнули его, то ли надоело. Я снял замок и потянул ручку. В Берлогу хлынул свет. Так и есть – никаких следов. Да и кто мог пролезть в такую щель? Разве что собака.

Собаки здесь, в Брошенном краю, не приживались. Осталась только одна. Владел ею Хрящ, тип во всех отношениях гнусный. Он был вороват, груб и злобен, впрочем, в злости и грубости я ему не уступал. Враждовать мы не хотели, а дружить, пожалуй, не могли. А потому держали нейтралитет, уже долгих шестнадцать месяцев.

И вот теперь Хрящевая собака подкопалась под мой сарай. Нехорошо.

Я любил свою Берлогу, все в ней было устроено под меня – и крепкий выскобленный стол, и топчан с полосатым матрасом, такие бывают в детских лагерях, и старые вещи, которые помнят всех владельцев. Всех, даже тех, что позорно сбежали в большие города и чуть менее позорно – на тот свет. В

Берлоге я почти не жил. Если, конечно, считать за «жил» то место, где человек переживает темноту. Ночи мои принадлежали матери. Едва ли она замечала дневные уходы и возвращения, но в сумерках начинала ждать. Сидела за швейной машинкой, укладывала строчку за строчкой и ждала. Ныть – не ныла, но чернела глазами и пела тонко, как стонала. Я знал это и шел к ней, запирая Берлогу на всякий замок.

Со вчерашнего дня осталось немного печеной картошки. Неплохая оказалась картошка, соседка притащила матери мешок – за то платье из голубого шелка. Ткань была как вода, почти прозрачная. Я мыл руки в этой ткани, я почти пил ее и не хотел знать, что с ней будет потом. Через два дня ткани не стало. Зато соседка построинела, а слабый бюст приобрел новые формы. Такие вещи мать умела делать, как никто.

Я сдирал с картошки бурую кожуру, и пальцы пачкались золой. Хотелось закопать яму, но я ждал Хряща. В конце концов, был уговор – никаких собак на моей земле. Могла, конечно, приبلудная забежать, но я уже винил Хряща и делать ему поблажек не собирался.

Он явился не сразу – картофельной шелухи нападало изрядно. Постоял, почесал затылок, оскалил кривые зубы. Вроде как поздоровался. Я поднялся, и приземистый Хрящ уперся взглядом в мой подбородок. Он был не намного старше меня, но давно уже не рос, разве что вширь. Впрочем, не толстел, а только креп и в драке, наверное, мог бы сломать

мне шею.

Облезлый пес, похожий на волка, покрутился у его ног и улегся в пыльную траву. Вот он, преступник! Злиться я перестал, но дать Хрящу урок еще не передумал.

За спиной у него терлись двое. Дешевые малолетки с рынка. Один из них ковырялся в носу, второй пинал банку из-под кильки. Убогая свита. Так я Хрящу и сказал.

– Убогая свита, Хрящ.

– Убогая, Зяблик, убогая. Да дело не твое.

– Не мое, – согласился я и кивнул на дверь Берлоги, – а вот это мое, Хрящ.

– Подкоп, – хмыкнул Хрящ.

– Собачий подкоп, – уточнил я.

Хрящ скосил глаза на собаку, длинно сплюнул, потряс головой:

– Не мой рыл.

– Чем докажешь?

– Дык он привязанный сидел.

Я посмотрел на обрывок веревки, болтающийся на шее у пса.

– Сидел, да не высидел, Хрящ. Травану я его, без жалости. Ты меня знаешь.

– Знаю, Зяблик, – Хрящ поморщился, – ну не доглядел. Эй, Жир!

Тот, что ковырялся, толстяк с подбородками, вытащил палец из носа и пробасил:

– Чего-о-о?

– Закопать!

Жир с готовностью бросился к яме и стал руками закидывать в нее землю.

– Да подожди ты.

Я сходил за лопатой. Толстяк принял ее без особой благодарности, но дыру заделал знатно. Признавая инцидент исчерпанным, я махнул Хрящу и скрылся в Берлоге. Вечерние тени уже вползали через длинное окно под потолком, тянуло сырым и холодным. Молоко в прозрачной банке стало иссиня-серым. Я сделал два глотка и улегся на топчан. Через пару часов мать начнет ждать. Но это еще не скоро.

Утром, до Хряща и собаки, я был в новой стекляшке на проспекте Мира. Строили стекляшку долго, полгода она даже стояла брошенной, и остов ее торчал посреди города как крысья клетка. Но потом о ней вспомнили, одели в стекло и зеркала, и теперь она сияла, слепила и всеми шестью этажами дразнила – угадай, что внутри. Никто не пустил бы меня в стекляшку просто так. Но я привез документы в какой-то «Галан» для какого-то Ситько.

Работку я нашел не пыльную – вози себе пакеты, только не теряй. Называться курьером было средненько, но я решил не цепляться к словам. Дергали меня не часто, денег давали, а все остальное не имело значения. Город я знал получше многих, и не только чистую его часть. Пока другие, *белень-*

кие, мальчишки ехали в автобусе, я шел помоечными кварталами, срезал по крышам и подвалам и везде встречал своих. Ну как своих. Тех, с кем я однажды договорился. И тех, с кем еще договорюсь.

Внутри стекляшка оказалась обычным офисным центром. Девушка на ресепшене велела отдать пакет, мол, сама-сама. Некрасивая совсем девушка – с широкими плечами и плотно накрашенным лицом. Тем не менее, смотрела призывно и украдкой поправляла мизинцем помаду. Стало неприятно, я расписался и пошел прочь. Но тут ко мне метнулся пухлый парень в растянутом свитере. Я узнал его не сразу, а когда узнал, обрадовался – Ванька, мой Ванька. Мы с ним в Саду срок мотали, а потом в соседних школах, черт их раздери. Но это когда я еще ходил в школу.

– Зяблик! – Ванька тряс мою руку, и щеки его подпрыгивали. – Зяблик, как ты?

Добрый был пацан, всегда. Но хлипкий совсем. Он стал не нужен еще лет пять назад. Но я приглядывал на всякий случай, чтобы не обижали.

– Уймись, Ванька, хватит, – сказал я, слишком уж он напирал. – Как тебя сюда занесло?

– С дружбаном пришел, у него тут папаня работает. Такой дружбан, Зябличек, ты с ума сойдешь!

– Ну это вряд ли. А где дружбан-то?

– Наверху. В офис пошел.

– А тебя не взял?

– Зачем? – удивился Ванька. – Я там никто. А он – сын директора.

Ну да, никто – это про Ваньку. Хотя для меня и сын директора – никто. До поры до времени, конечно. Пока не докажет, что сила есть, а там посмотрим – друг или враг.

Ямки на Ванькиных щеках углубились, глаза заблестели хитрым.

– Сюрпри-и-из!

Сюрпризов я не любил.

– Смотри, вот же, вот! – Ванька тыкал за турникеты и чуть не подпрыгивал. Некрасивая девица брезгливо кривилась. – Дружбан-то мой! Узнаешь? Мы теперь в одном классе.

Я узнал. С неприятным холодком между лопатками. В Саду я называл его белобрысым, а после не называл никак. Потому что не видел уже лет девять. Тогда, в Саду, он все время лез ко мне и через меня, а я всегда у него выигрывал. Характер-то там был, ничего не скажешь, но выдержка – дрянь. Сорваться мог в любую минуту. Пару раз я его здорово отлупил. А он меня – ни разу.

– Игорьь. – Белобрысы́й протянул мне руку как чужому.

– Ты чего, Игорек? – Ванька снова заиграл ямочками. – Это же Зяблик, помнишь его, дурила? Мы же в садик вместе ходили!

– Не помню, – холодно ответил Игорек. Пальцы у него были липкими.

Вообще-то я его понимал. Забыть меня – лучшее, что он

мог сделать. Я ведь его забыл и еще раз забуду, как только он выйдет за эту стеклянную дверь.

– Вы еще цапались вечно, – веселился Ванька, – помните?

– Ага, – сказал я, – привет, белобрысый. Коленочки не болят?

Как-то он здорово меня подставил, нарочно, за что получил с налета, после чего добрых полчаса отстоял на коленях. В туалете круглосуточной группы, на кафельном полу. Ныл, размазывал сопли, но стоял. Деваться ему было некуда.

– Пойдем, Ваня. – Белобрысый дернул плечом, и Ванька вдруг сдулся, даже щечки опустились. – А ты... ты... – он сжал кулаки, – постригись, ходишь как баба.

Я посмеялся его глупости, и они ушли. Один – задрал подбородок, второй сутулясь и немного косолапя. У выхода второй обернулся и помахал мне рукой. Хороший был пацан, но совсем, совсем ненужный.

Там, вовне, солнце еще проливалось в бурые лужи, но в Берлоге влажно и тяжело дышали сумерки. Сырел матрас, от него пахло прошлогодней соломой и спитым чаем. Сентябрь только начинался, и вечерами здесь было вполне терпимо. Печку я пока не растапливал, но ватное одеяло уже стащил с верхней полки. Серое с красными прожилками, оно холмиком лежало у меня в ногах. Я не устал, был легкий, но какой-то маетный, с камнями и ватой внизу живота. Хотелось валяться, глядя в подкопченный потолок, и в то же время –

бежать, бежать без оглядки. Только я не знал, куда и зачем, и ждал чего-то, как брошенный пес, и боролся с чем-то вязким внутри меня.

Последний луч лизнул мою руку и пропал. В Берлоге почти стемнело. Я поднялся, допил молоко – оно было сладким, будто с сахаром – и вышел на холодное крыльцо. Дышалось легко, как бывает только осенью, слабенький закат подкрашивал небо. Тянуло спринтерски рвануть, петлять между сараями, кричать. И я рванул, но молча, чтобы никто не узнал, что я живу, что я есть и что мне хорошо.

Двор, куда выходили наши окна, к вечеру становился обитаемым. Наползали полуживые хмыри, старые и не очень, взбирались на обломки скамеек, пили дешевое пиво. Дуньев из шестой резался с мужиками в карты. На просмасленной кальке лежали обрезки жирной колбасы, Дуньев закидывал их в рот и вытирал руки о чьи-то простыни, сохнувшие на веревке. Под чахлой акацией Санек окучивал баб, вечно пьяных, хриплых, шумных и все время разных.

Нынешняя баба казалась не вполне пропащей. Тонкие запястья, не пережженные волосы, скромный костюмчик в клетку. Санек целовал ее, а она крепко держалась за лацканы Санькового пиджака и вскрикивала раненой птицей. Смотреть на них было приятно, и я смотрел, но потом Санек показал мне кукиш. Вот еще, скромник нашелся. Я хмыкнул, сунул руки в карманы и... что за черт?! Больно! Пальцы на

правой руке здорово кровили, куртка пошла бордовыми пятнами. Уцелевшей рукой я пощупал карман и понял – в кармане осколки стекла.

Я смотрел, как ладонь заливают кровью, как кровь капает в пыль, и больше не чувствовал боли. То острое, что было вначале, притупилось, затихло. И осталось только это – теплое, темное, текущее в щели между пальцами.

– Эй, парень! Ну-ка, покажи!

Кто-то схватил меня за локоть, и тишина, в которой я повис, лопнула. Боль сразу вернулась, обожгла, пошла во все стороны ручьями.

– Отпусти! – Я рванулся, но пальцы от моего локтя не отцепились.

Чужой, огромный, с песочной бородой и песочными же глазами. Никогда его тут раньше не было. А теперь – пожалуйста, явился, навис надо мной и держит, будто я что-то украл.

– Отпусти! – снова взвыл я и здоровой рукой толкнул песочного в грудь.

Тот отступил, растерянный, покачал головой.

– Не дури, парень! Я врач, давай помогу.

– Себе помоги, – буркнул я и пошел к подъезду.

Лицо у песочного неплохое было, светлое. Это и довело меня до бешенства. Да кто он такой, кто позволил ему стоять тут, лучиться жалостью и теплом?

– Брось его, мужик, – прохрипел за спиной Санек, – он с

чужими не того... Без тебя справится, не сдохнет.

Я и сам знал, что не сдохну. Еще шестнадцать шагов и десять ступенек, и мать достанет свои травки, заварит, промоет, пошепчет, и раны мои затянутся навсегда.

– Кушай, мальчик, – на топкое болото шей лег сметанный сухосток, – хлеб бери, без хлеба нехорошо.

Здоровой рукой я взял хлеб, а забинтованной – ложку. Улыбнулся матери и начал есть, зачерпывая медленно и глубоко, чтобы войти в ритм и подумать, что же дальше.

Скверная получалась история. Кто-то подкинул мне в карман стекло – вроде раздавленный стакан, причем дорогой, тонкий. Но кто? Хрящ? Нет, не мог, слишком далеко стоял. Ванька? Абсурд, вычеркиваем. Этот сопливый блондин? Ну вряд ли, кишочка не тянет. Тогда остается... Жир. Почему бы и нет? Терся рядом, зыркал поганно. Сам сделал или по наущению Хряща – пока вопрос, но в остальном...

Я положил ложку.

– Спасибо.

Мать погладила меня по голове и улыбнулась:

– Болит?

– Нет, все прошло.

– Вот и ладно. Теперь чаю, да?

Да, теперь чаю и понять, почему Жир это сделал. Вернее, за что. За унижение? Так ему не привыкать – Хрящ их, как котят, топит. Может, раньше пересекались? Не похоже, я бы

помнил. Тогда почему? Ответа не было, и я сердился на себя и дул на чай так сильно, что он выплескивался на стол.

– Тише, мальчик, тише. – Мать встала за тряпкой, и край ее передника коснулся моего рукава. – Дождь будет. Промокнет Сомова.

– Какая Сомова?

– Помнишь, в том году платье палевое шила? С таким воротником? – Она провела исколотым пальцем вдоль ключицы, и я вспомнил. Вспомнил Сомову в легких туфлях на босу ногу, нитку жемчуга на шее и шепот: «Иди сюда». Вспомнил платье цвета пустыни, мягкое, горячее, душное, и как путался в его складках и хотел пить, и как бежал домой, чтобы зарыться в материн подол и разбить на осколки пустынные миражи.

Осколки. Все-таки Жир или нет? И если Жир, то зачем? Доказательств – ноль, и предъявить мне нечего. Цапаться с Хрящом за просто так – себе дороже. Можно, конечно, найти Жири и отлупить без объяснений. Но это опять – Хрящ, с которым без объяснений уже не выйдет.

И я решил подождать. Месяц, два, сколько будет нужно. Отомстить-то никогда не поздно, главное, понять, за что, кому и как.

– Пойдем, – мать потянула меня за ухо, – хорошее покажу.

В комнате горел торшер, неровно выкраивая из темноты машинку, ворох цветных лоскутов и старую коробку с пуго-

вицами. Когда-то я любил рыться в этой коробке, погружая руки по самое запястье в шелестящее нутро. Раскладывал черное к черному, круглое к круглому, прятал по карманам, терял, но матери не признавался. А она не замечала, или замечала и ничего не говорила, потому что не хотела мне мешать. Но теперь – всё, теперь только ткани, чужие, временные, теряющие форму, уходящие в никуда. Смятые, вскрытые ножницами, пробитые строчками, но до этого – мои.

Скрипнула дверца шкафа, мать вынула на свет тяжелый сверток. Я не сдержался и надорвал бумагу. Из щели плеснуло изумрудным – бархат, плотный, мягкий и совсем теплый, как живой.

– Нравится? – шепнула мать, и я так же шепотом ответил:
– Да.

Мы еще постояли над развернутой тканью, а потом зазвонило – резко, как ударило. Мать дернулась, суетливо поправила платье и толкнула меня в плечо – уходи. Сомова явилась снимать мерки.

Дверь я прикрыл неплотно, хотелось посмотреть, какая стала Сомова теперь. Сначала они пили чай, говорили о зреющем дожде, ценах и Сомовском муже, который вот-вот вернется из-за границы. Но вскоре мать достала метр, а Сомова начала раздеваться. Я припал к щели, вцепился в дверную ручку, и дыхание мое стало слышным.

Пожалуй, я не видел ничего, кроме тонких полос кожи и кружев. Метр вился вокруг них, как змея, и голос матери,

называющий числа, таял в сумеречной вате. Когда из окна потянуло свежим, под влажной рубашкой забегали мурашки. Я прикрыл дверь и бросился на кровать лицом вниз. Сейчас, сейчас Сомова уйдет, и будет можно.

Мать, заперев за Сомовой, навесила цепочку и скрылась в ванной. Полчаса, не меньше... Я прокрался в ее комнату, вытащил из шкафа пакет и зайцем метнулся к себе.

Бархат ворсился в ладони, шершавился. Я даже не вынул его из бумаги, просто открыл и гладил. А он матово играл под маленькой лампой и не давал мне дышать. За окном поднялся ветер, он рвался в заросли сирени, и та постанывала, не зная, впускать его или нет. Дождь уже готов был пролиться, но хмыри все еще галдели в глубине двора. Крики и хохот дергали меня, отвлекали от главного, я натянул на голову одеяло и вытянулся струной. Далеко, в заглазной темноте, заплясали птичьи перья, поднялась пыль, чьи-то руки схватили пустоту. Сверток с бархатом опрокинулся на пол.

Крики постепенно вернулись, разметав мою тишину. Похоже, там ярились, били бутылки, осыпая друг друга бранью и стеклом, собирались в стаи. Я влез на подоконник – посмотреть, но смотреть было не на что. Вдруг, как будто его включили, пошел дождь и смыл всю эту серую человеческую гниль.

В форточку дуло, но я сидел, мерз и смотрел на город, полускрытый за черными ветками. Он тоже смотрел, шипел

дождем, мигал огнями и далекой электричкой кричал: «Ту-у-у!» Это был мой город, он принадлежал мне, как принадлежит мальчишке лопухий щенок. Никто не мог тронуть меня здесь, я же был свободен и всевластен. По праву сильного, по праву того, кто видит больше и дальше других.

Утром я поехал в контору за письмами. Именно поехал – дождь все еще моросил, а у меня протекал ботинок. Автобус еле тащился, чихал, плевался пассажирами, чаще школьниками. Сонными, вырванными из теплой летней жизни, уже уставшими, несмотря на ранний час. Напротив сидела дамочка – явно училка, вся собранная, прочная, с прилизанными кудряшками. В школе я доводил таких до истерики, они волокли *паразита* к директору, но не получали сатисфакции. Даже директор, среднего ума тип, понимал, кто я, а кто они.

У промтоварного в автобус заскочил Ванька. Волосы его торчали, словно колючки на кактусе.

– Зяблик! Ты!

Он плюхнулся рядом, поелозил, сдвинув меня к стенке, и счастливо улыбнулся.

– Второй день подряд встретились. Здорово, да?

– Здорово, – согласился я. Все-таки обижать *моего* Ваньку не имело смысла.

– А мы вчера в ресторан ходили, знаешь, на Красноармейской – здоровый такой, «Нимфа» называется?

– И что там?

– Еда – высший класс! Я такой еще не ел.

– Не разорился?

– Игорек платил. – Ванька беспечно махнул рукой. – У него денег полно, папаня-то гендир. Кстати, злился он на тебя вчера! Даже водки выпил в «Нимфе», представляешь?

Ну да, конечно, герой, водки выпил. Я усмехнулся и открыл молнию на куртке.

– Пижон твой Игорек.

– Да и пусть! Зато он добрый, обещал мне кроссовки отдать штатовские, настоящие. Он их и не носил почти.

– Это не добрый, Ванька, это по-другому называется.

– Как?

– Никак. – Я положил ногу на ногу, и училка напротив поджала губы. – Носи свои кроссовки и в голову не бери.

– Дурилы, – Ванька расстроено вздохнул, – детсад-то пуф, кончился давно, а вы все паритесь. Дружили бы теперь втроем...

– Не дружили бы, – отрезал я.

Автобус остановился, и в переднюю дверь ввалился пацан лет семи. Грязноватый, нечесаный, но, скорее всего, домашний. Тетки сторонились, когда он шел мимо них по проходу. Я ожидал чего-то в духе «не ел три дня, помогите христаряди», но пацан молча уселся рядом с училкой и вытащил из кармана горсть крупных семечек.

Морда у него была хитрая, глазенки колючие. Сквозь дра-

ную штанину смотрело тощее колено. Забавный пацан, только, видно, голодный. Семечками-то не наешься.

Щелк! Училка напряглась, даже рот приоткрыла, но пацан спрятал шелуху в карман. Следующий щелк оставил ее равнодушной, и я даже пожалел о том, что скандал не состоялся.

На остановке у рынка автобус задержался – издалека, шлепая по лужам, бежала старушка в голубых ботах. Водитель пил кофе из картонного стакана и настраивал радио. Оно шипело, выкрикивало разными голосами, будило пассажиров, и те хлопали глазами, словно потревоженные совы. Когда старушка, пыхтя и крикая, влезла на первую ступеньку, пацан выбросил руку, схватил училкину сумку и кинулся к задней площадке.

Сперва ничего не происходило, только училка хлопала ртом, как рыба на песке. Потом у нее появился голос, и она заверещала:

– Отдай!

Автобус оживился, загомонил, кто-то повскакивал с мест, училка перешла в нижний регистр и с криком «Держи-и-и!» бросилась за пацаном. А тот уже несся вдоль ларьков, озираясь и прижимая сумку к груди. Я хохотал как помешанный, вокруг осуждающе бубнили. Ванька жался в комок, виновато охал и пятился к выходу. День начинался не так уж и плохо.

Конец же дня выбил у меня из-под ног хлипкую скамеечку, и я повис как в петле, задыхаясь и дергаясь, и ничего не мог изменить.

Когда Хасс явился первый раз, мне было пять. Невысокий, грузный, с бегающими глазками, он шагнул через порог, и я сразу понял, что у нас не заладится. Осмотрев комнаты, Хасс скрылся в туалете, долго пыхтел там, потом коротко спустил воду и вышел, повеселевший.

– Как, Паша? – спросила мать.

Толстой рукой он подтащил ее к себе, чмокнул в шею и кивнул:

– Хатка хорошая. Принимай хозяина, малец.

Малец – это было мне, но я ничего не понимал и молчал, пытаюсь найти на лице матери хоть какой-то ответ. Ответа она не давала, только жалась к Хассу и улыбалась незнакомо – так, будто больше не моя.

Я чувствовал это и позже – все время, пока Хасс жил у нас. Наверное, тогда он еще любил мать, и ей хотелось купаться в этой любви, даже такой, грубой и неумелой. Немного согреться, взять себе, побыть за кем-то. Она готовила тот же борщ, но теперь мы ели его втроем, гладила рубашки, маленькую и большую, и покупала газеты – для Хасса. Газеты пачкали пальцы и пахли незнакомо, читать их было скучно. Часто по ночам я слышал, как мать стонет в соседней комнате. Пугался, забивался под одеяло, давился слезами, но не бежал ее спасать.

Наверное, Хасс хотел, чтобы меня не было. Совсем. Но я был, худенький черноглазый птенец. Вил гнезда, метил тер-

риторию, прятал разные вещи – просто так и от Хасса. Не пакостил особо, но и не делался ручным, и это доводило его до бешенства.

Вообще, в бешенство Хасс впадал легко. Лицо наливалось вишневым, он кричал, махал руками, много раз повторял одно и то же. Мог дернуть, толкнуть, даже ударить. После лежал, обессиленный, взмокший, и мать носила ему лед в полотняном мешочке.

– Сгинь, гаденыш, – шипел Хасс, если я входил в комнату, – морду твою в котел!

Мать уводила меня, наливала чаю, гладила по голове. Шептала что-то теплое, но я все равно плакал, и чай мой остывал нетронутым.

– Ничего, мальчик, – говорила мать, – ничего, ты главное слушайся.

Я вроде бы и слушался, но Хассу этого послушания было мало.

Когда мне исполнилось шесть и два, Хасс сорвался. Не из-за меня, я лежал с температурой и смотрел ярко-желтые кудрявые сны. В тот день его выгнали с работы – в обед он выпил водки, раздухарился и полез в драку, напугав бригадира до кишечной колики. Обиженный, злой и все еще пьяный он пришел домой – за разрядкой, которую мать не могла ему дать. Я проснулся от ее криков, вскочил и услышал дикое рычание. Всклипнул:

– Медведь?! Мама, там медведь?

Никто моих всхлипов не услышал.

Надо было забраться обратно – под одеяло, в самую глубину, чтобы медведь не нашел меня. Но я слез с кровати и на четвереньках, путаясь в широких пижамных штанах, пополз в коридор. Медвежье рычание перекрыл голос Хасса: «Стой!», и я решил, что он защищает мать.

Бум-м, бум-м – кто-то лупил по стенам, с потолка сыпалась штукатурка. В приоткрытую щель я увидел – никакого медведя нет. Только Хасс. Он таскал мать за волосы, рвал на ней одежду и скалился:

– Стой, стой, стой!

Она слабо отбивалась, скулила, на руках ее была кровь.

В свои шесть и два я знал, что можно умереть. Но все равно побежал на них, громко крича и захлебываясь. Бил, царапал, грыз, пока не потерял сознание от боли. Но даже там, в небытии, не мог остановиться и простить.

Я сжал кулаки, и царапины от вчерашнего стекла остро напомнили о себе.

На рекламном щите, поверх банки с шоколадной пастой, был наклеен он. Тот же рыхлый нос, редкие волосы, глаза как у больной свиньи, так же вздернут левый угол губ. Вот только шрам на подбородке новый и морщин больше, чем в прошлый раз. Я смотрел, узнавал, читал, и асфальт плыл у меня под ногами.

Разыскивается Хасс Павел Петрович, 50 лет.

Находится в состоянии психической нестабильности.

Опасен для окружающих.

При встрече не вступайте в контакт. Позвоните в полицию.

Куртка мокла, тяжелела, тянула вниз, по лицу бил холодный дождь, а я стоял, не двигаясь, ловил ртом крупные капли и ждал. Ждал, когда мир перестанет качаться и снова начнет работать мозг. Мимо шли люди, толкались, бурчали «встал на дороге», но мне было все равно. Я не мог и не хотел шевелиться.

Тогда, в шесть и два, мать приезжала в больницу, кормила клубникой и клялась, что больше мы его не увидим. Мы и не видели, вернее, она не видела. А я увидел, года через три, когда шел из школы. Возле старого рыбного он пил разливное пиво – торопливо, жадно, причмокивая на пол-улицы. По стенкам кружки и толстым пальцам, пузырясь, ползла белая пена. Из-за ларька, где я спрятался, было видно все – серый костюм с мятой полоской галстука, мутные глаза, небритый подбородок и два чемодана, перетянутых веревками. Я знал, что мал и слаб, что не могу прямо сейчас броситься и растерзать этот гнусный кусок сала. Нужно было выследить его, расставить силки, и вот тогда...

Я шел за ним до вокзала. Дрожал от возбуждения, стро-

ил планы, представлял всякое, о чем бы не решился сказать даже матери. А на вокзале он купил два пирожка, бутылку колы, газету и сел в поезд, идущий до Волгограда. Глядя на Хасса, заталкивающего на третью полку огромные чемоданы, я подумал: «Не вернется». Подумал и разревелся так, как не ревел уже несколько лет. Хасс уезжал, может быть, навсегда, а я оставался здесь – маленький, слабый и не отомщенный.

И вот он вернулся, да еще и знаменитым. Портреты по всему району, на каждом заборе: «Хасс, Хасс, Хасс». Полиция сбилась с ног. Ищут по проспектам и подвалам, ждут страшного, видят кошмары, но не могут найти. А я найду. Чего бы это ни стоило. Теперь мне шестнадцать, у меня крепкие руки, отличные связи и более чем здравый рассудок. На этот раз я успею, и он получит свое.

Глава 4

Да и нет

Сегодня на пересечении улиц Металлостроя и Куйбышева произошло нападение на Ольгу П. двадцати восьми лет. По-терпевшая утверждает, что к ней подкралась сзади и на-дели на голову полиэтиленовый пакет, после чего несколько раз ударили тупым предметом и начали душить. Судя по направлению ударов, нападавший был невысокого роста...

– Кыш, кыш, чего уставились? – Физрук Святогор при-крыл собой телевизор и замахал журналом. – Кыш, я сказал!

Молочно-бледные, девицы высыпались из его каморки в зал и встали неровным кружком. Держались за руки, каса-лись локтей и бедер, чтобы чувствовать свое – теплое, жи-вое, не полиэтиленовое. Даже Женю не оттеснили, приняли, ввязали в хрупкий узор.

– Металлостроя и Куйбышева... рядом совсем, – выдох-нула Алине в ухо овца Анютка.

– А я через это место в школу хожу, – поежилась Карина Дасаева.

– И я, и я, – зашептали вокруг.

– Да хватит вам! – прошипела Ермакова. – Нагнетают сто-ят! Кто сказал, что это *он*? Мало разве идиотов?

Алина покачала головой – не мало, конечно. Но в глазах Ольги П., отекающей, потерянной, бледной, пульсировал страх, и этот страх летел с экрана жгучими солеными брызгами. Так бояться не идиотов, нет. Это ужас перед тем, что выше твоего понимания, перед тем, что приходит из ниоткуда и властно, неизбежно утаскивает тебя в никуда.

Резкий свист порвал душную тишину, пролетел под потолком, разметал девчоночий круг.

– Па-строились! Па-живее! – Святогор изображал приподнятость. – Мужики, еще живее, ползете как улитки в гору! Равняйся, смирно, напра-во! Бе-гом! Раз-два-три-четыре, раз-два-три-четыре. Молодцы!

И так теперь всегда – бежать, бежать, три-четыре, раз-два. Переставлять ноги, сглатывать комок, терпеть острую спицу в боку. Без отдыха, без остановки. Иначе – он, пакет из супермаркета, в котором уже ничто не имеет значения.

– Стой, раз-два! Переходим к упражнениям. Упражнение первое...

Ермакова, разминаясь, задела Алину локтем.

– Ой, прости!

– Да ничего.

– Если честно, я в полном ахтунге... а ты?

Алина потянулась к носкам кроссовок и буркнула куда-то в пол:

– Аналогично.

– И что делать? – Изящное приседание.

– Не знаю.

– Слышьте! – Мотая головой, к ним подобралась овца Анютка. – Кажись, у меня того... понос начинается.

Ермакова сморщила носик:

– Говорила тебе, не жри салат!

– Не-е-е, – проблеяла Анютка. – Это не салат. Я... боюсь.

– Мах ногой, раз-два! Мах другой, три-четыре!

Алина присела и сделала вид, что завязывает шнурок. Руки у нее ходили ходуном. Вот бы тоже больной живот – сбегать, спрятаться и не слушать этого всего.

– Маши, Седова, маши! И ты, Шишкина, маши, не оставляйся!

– Машу, машу, – просипела Анютка и задрала правую ногу.

– В Колумбии, – заговорили сверху Жениным голосом, – маньяков никто не боится. Потому что полиция опытная, и ловит их на раз-два!

– Раз-два, поворот, раз-два, поворот! Седова, совесть имей! Будешь филонить – двадцать отжиманий!

– Заткнись, блаженная! – вскинулась Ермакова. – Колумбия у нее. Тошно уже от тебя!

Тошно... Да, совсем тошно. Алина поднялась и крикнула:

– Святогор Юрьевич, мне плохо. Можно выйти?

– Да иди, иди, – сдался Святогор, – но двадцать отжиманий – должок!

Алина вцепилась в подоконник, давно не мытый и оттого волнистый, как речное дно. Задержала дыхание. Не хватать ртом воздух, не глотать, спокойнее, спокойнее. Так ее учил доктор – молодой, кареглазый, с девичьи круглой родинкой над верхней губой. Года два назад Алина была в него влюблена, а потом прочитала в интернете про какой-то там *перенос*. Вроде это правило такое – влюбляться в своих психотерапевтов. Алина подумала-подумала и разлюбила его, а через месяц доктор сказал, что больше ей не нужен. Как знал. Мама ужасно расстроилась тогда. Ходила к главному, требовала другого врача, кричала: «Они бросают девочку». А девочка радовалась неожиданной свободе и ни о чем не жалела.

Школьный двор был пуст, ветер гонял по нему сухие листья. Тополя этой осенью ссыхались рано, еще зелеными, и дрожали полуголые, и грустно качали ветками. Алина прикрыла глаза. Не дышать глубоко, не сжимать пальцы, царапая ладони ногтями, не... Сквозь опущенные ресницы она увидела, что посреди двора стоит человек. Худой, длинноволосый, в толстом свитере и рыжих ботинках. Зяблик!

– Зяблик! – закричала Алина сквозь стекло.

Он, конечно, не услышал. Тогда Алина, гремя рамами, распахнула окно и крикнула во всю грудь:

– Зябли-и-ик!

«Ну заметь же, заметь меня, я здесь, на третьем этаже!»

Зяблик поднял голову, округлил рот в насмешливом

«О!», помахал белоснежно-забинтованной рукой.

– Подожди, я сейчас спущусь!

Она кинулась вниз, перепрыгивая через ступеньки, задыхаясь. Охраннику бросила:

– Мне надо, ко мне там пришли!

Вылетела во двор, покрасневшая, почти счастливая, и встала, озираясь. Никого во дворе не было. Только так же метались больные листья и висела в воздухе мелкая взвесь начинающегося дождя.

Охранник, пожилой, с неровной лысиной, выскочил вслед за Алиной, догнал ее, схватил за рюкзак.

– Кто пришел?

– Никто, показалось. Отпустите меня!

Он отпустил. Потом неловко, как бы жалея, погладил Алину по плечу.

– Время такое. Верить никому нельзя. Слышала про Металлостроя? Вот то-то же.

– Я думала, это мой друг, – шмыгнула носом Алина, – он нормальный!

– Вот и хорошо. Но если явится кто странный, незнакомый, говори мне, поняла?

Алина кивнула. Зяблик, разумеется, был странным и незнакомым, но она бы скорее откусила себе палец, чем стала кому-то о нем говорить.

В том, что Зяблик приходил, Алина несколько не сомне-

валась. Он был, он стоял там в своих рыжих ботинках и махал ей рукой. Со встречи на пустыре прошло двенадцать дней, и за это время Алина видела его только два раза. На третий день они встретились в магазине. Зяблик, напевая «Мы красные кавалеристы, и про нас...», прошел мимо и прихватил из ее корзинки баночку с йогуртом. Алина крикнула: «Зяблик!», но он сделал вид, что не заметил.

Вечером пятого дня Алина брела мимо брошенного дома на Куйбышева. Солнце через битые окна прокалывало его насквозь. Алина загляделась на мшистые стены, некогда крашенные желтым, треснувшие доски, плети дикого винограда, убегающие вверх. Оттуда, сверху, со второго этажа, на нее смотрел Зяблик. Смотрел совсем недолго, только и успел, что прижать палец к губам и показать – иди своей дорогой.

В тот вечер Алина спросила у Яндексса, как выглядит зяблик. Птичка оказалась розовощекой и розовогрудой, с серой прической и пестрыми крыльями. Алина когда-то видела таких в парке. Почему зяблик? – в который раз удивилась она. Загадка не отгадывалась, и Алина решила подождать – до новой встречи с Зябликом.

Но с шестого дня по двенадцатый его не было. Нигде. И даже Игорь, от которого мягко влажнели ладони и сбивалось дыхание, не мог спасти ее от подступающей тоски.

Игорь так и сидел с Алиной на уроках, хотя некоторые

звали его к себе. Особенно старалась фифа Ермакова – подходила, качая бедрами, смотрела ласково, крутила на пальце русый локон. Говорила: «Как, Игорек, не надумал ко мне перебраться?» Он, нисколько не смущаясь, отвечал: «Знаешь, Инга, наверное, нет». Ермакова улыбалась: «Ну зря, зря», – и в глазах ее плескалось разочарование. Алина сидела тихой мышкой, опасаясь, что однажды фифина обида прольется ей на голову помоями и дегтем. Но фифа, видно, не считала Алину соперницей. По правде говоря, не считала так и сама Алина, даже в те невозможные минуты, когда Игорь, чуть краснея, шептал что-то вроде «привет, принцесса» или «рад тебя видеть». Ей хватало мягкого голоса, запаха – тех же смолы и гвоздики, и робкой надежды, что все это будет здесь, рядом, хотя бы еще сорок коротких минут.

Через новую неделю Зябликового отсутствия Игорь прислал эсэмэску: «В 15.00 у Вареньки». Шла проверочная работа, и Алина не сразу прочитала сообщение. А когда прочитала, выронила телефон. Он упал под парту и привычно развалился на две части, выплюнув аккумулятор. Алина, чертыхаясь, полезла за останками. И тут же следом сполз Игорь – помогать. Собирая телефон, он тихо спросил:

– Придешь?

Алина помотала головой, и оба они выбрались наружу.

– Да или нет, скажи!

– Нет.

– Седова, Ситько, что за эквилибры? – укорила их Бори-

совна.

– Простите, – развел руками Игорь, – мы телефон лечили.

– В доктора играли, – пробасил верзила Горев, и с задних парт полетели короткие смешки. Борисовна постучала карандашом по столу и приоткрыла форточку.

Стало почему-то неприлично хорошо – беспокойно, негладко, но очень светло. Алина бросила писать и плескалась в этом свете, смеясь и разбрызгивая жаркие капли. Сегодняшнее «нет» оказалось другим – оно не было злым и отчаянным, как все предыдущие «нет». Оно не прятало ее за щетинящимся колючей проволокой забором. Оно брало за руку и вело к маленькой калиточке, за которой и у таких, как Алина, может быть немного счастья. Сегодня, уже сейчас, в пятнадцать ноль-ноль, Игорь будет ждать в кабинете Вареньки. Будет, будет, несмотря на сказанное «нет». И там... Она не знала, что случится, но хотела этого и дышала часто и глубоко – совсем не так, как учил ее доктор с родинкой.

Варенька поливала цветы из розовой лейки. Наклоняла носик к самым корням, и вода сразу уходила в землю. Игорь в накинутом пиджаке стоял рядом, Варенькины пышные кудри касались его плеча. Солнце гладило им макушки, и это было так по-домашнему, так тепло, что Алина вдруг испугалась. Спина намокла ледяным, словно туда засунули мороженое. Да, все предельно просто. Дура набитая! Тебя позвали сюда не любить. Тебя позвали стать, как там говорит-

ся, слово такое гадкое... наперсницей? Шелковая паутина, сплетенная полчаса назад, порвалась в десяти местах. Алина хрипло закашлялась.

Варенька поставила лейку и обернулась.

– А вот и ты, Алиночка! Отлично! Игорь сказал, вы хотите литературные журналы почитать. Но я их домой не даю, а здесь – пожалуйста. Кому какой номер?

– Вы нам покажите, где лежат, – попросил Игорь, – а мы выберем.

– Вот шкаф, смотрите, три полки, по годам. Выбирайте, а я на педсовет. И умоляю, поаккуратнее!

Шлейф Варенькиных духов медленно таял, и вместе с ним таяло и высыхало мороженое у Алины за шкиркой. Солнце било в глаза, и от этого Игорь плавал в ярких красно-зеленых кругах. Хотелось плакать.

– Так-так-так, все же пришла. – Игорь открыл шкаф, наугад вынул два журнала и бросил их на парту. – Садитесь, мисс, будем читать.

– Но я... думала...

– Что ты думала?

Алина пожалала плечами и протерла слезящиеся глаза.

– Ты думала, я позвал тебя на свидание?

Это был сильный удар, наотмашь. Жесткими пальцами Алина застегнула верхнюю пуговицу кофты и выдавила:

– Нет, конечно.

– Ну и зря. – Игорь подошел близко-близко, такой чужой,

непонятный и расстегнул кофтину пуговицу обратно. – Я ведь позвал, понимаешь?

Его руки легли Алине на плечи, сжали, поползли скользкими змеями по спине и шее. Чуть сильнее, чем обычно, запахло гвоздикой, сразу закружилась голова и заплясали по стенам солнечные зайцы. А со стен смотрели важные, сильные, хитро прищуренные, много раз обнимавшие кого-то писатели. Они смеялись над Алиной и ее детским страхом и показывали на нее пальцами. Запах гвоздики стал вязким, начал душить, в глазах потемнело. Алина вырвалась из Игоревых рук, подхватила рюкзак и, натываясь на парты, полетела вон из класса.

В дверях она врезалась в Алекса Чернышева. Тот сгреб ее в охапку, прижал к кожаной куртке, встряхнул:

– Куда? Почему бежим?

– Дурак! – закричала на него Алина. – Дурак, дурак! И трогать меня не смей!

– Ты что? – опешил Чернышев.

Но Алина уже не слышала. Рыдая в голос, она бежала по коридору и повторяла: «Мама, мама, помоги мне, пожалуйста, помоги».

Огромный дом в сто тысяч квартир вырос у Алины на груди. Высовывал языки лестниц, лизал нос и щеки, глядел слепыми окнами, душил занавесками. В животе у дома пело радио, тикали часы, булькая и пенясь текла вода по кишечни-

ку водопровода. Двери были заперты на замки, и тех, кто не успел выйти, дом переваривал, как вчерашнюю кашу. Алина хотела туда, внутрь, жала кнопки домофона, но слышала только чавканье и хруст, хруст и глухое чавканье.

– Пей, пей. – Мама толкала ей в губы пластиковый стакан.

Горько, очень горько. И зубы ломит от холодной воды. Воды так много, что можно утонуть. Вот она уже по шею, и в окна дома врываются кудрявые буруны. Дом рушится, складываясь пополам, и под его обломками Алина почти теряет сознание. Надо бы бежать, но бежать некуда, и остается только глотать пыль и кашлять, и тонуть в мутной жиже, бьющей из лопнувшей трубы...

– Ну вот, вот, уже лучше, видишь?

Она видела, да – как одна ее рука держит другую, как черная муха мечется по стене, как дрожат бусинки пота на склонившемся над ней лице.

– Я вижу, мама.

– Хорошо, милая. Отдыхай, а я с тобой посижу.

– Не надо, пожалуйста. Теперь я сама.

Мама покивала, расправила на Алине плед и вышла. Дверь за ней плотно закрылась, и стало тихо.

Через минуты тишины Алина поняла, что лежит в кабинете завуча, Ильи Петровича. На спинке стула висел пиджак – полосатый, с каким-то значком на лацкане. В кресле, под ворохом газет, пряталась мягкая шляпа. Незнакомо пахло одеколоном и табаком, таких запахов в Алинином доме не было.

Ноги согревались, и плечи потихоньку превращались из каменных в живые. Ну что же. Она почти успокоилась, перестала трястись и падать, но в ту точку, с которой все началось, вернуться уже нельзя. Вернуться, чтобы не струсить, не вырваться и не сбежать от первого поцелуя, как от вавилонской чумы. Она приходила и раньше, эта многоэтажная мгла, что хватает и тащит, и вяжет – стоит только зазеваться, дать себе чуть-чуть воли, отомкнуть один из замков. Приходила случайно, мягкой походкой, виляя обрубленным хвостом. Ниоткуда, из тех невозможных мест, где хриплые Хасы рвут повзрослевших девочек на мелкие куски.

Но ведь не было же... никогда ничего не было.

Алину наблюдали разные врачи, с родинками и без, мгла светлела, редела, но все равно жила внутри и вновь сгущалась там, где ее совсем не ждали. Мама требовала у врачей лекарства, они выписывали, Алина пила. Мама каждый день вглядывалась в Алинино лицо. Мама указывала, запрещала, хищно нависала над. Алина впитывала и слушалась, и училась отличать обычное от *своего* – того, что нужно прятать на самом дне. Тем более, если на этом *своем* стоит жирная печать «нельзя».

– Игорь, – сказала Алина и всхлипнула теперь уже легко, без истерики.

Первый красивый мальчик, которому она понравилась. Да

что там, просто первый мальчик, которому захотелось прикоснуться к ней. Не дружески, как Ванька – «эй, Алинка, – хлопок по плечу – привет, дай алгебру списать», а с настоящей взрослой нежностью. А она по привычке все испортила.

– Пожалуйста, пожалуйста, – твердила Алина, – пусть Игорь простит меня. Я обещаю, я исправлюсь, я не буду ему мешать.

Слезы катились, затекали в уши, щекотались там как маленькие мыши. Диван кожано поскрипывал. Из окна тянуло свежим, и бумаги на столе тихо перешептывались. Что-то было еще такое... кожаное. Ах, да! Алекс Чернышев, он же Винт. Встал, словно столб на дороге, растрепанный, злой, схватил до синяков. Вечно он где-то рядом, вечно смотрит с осуждением. А за что, позвольте спросить? Алина повернулась на бок, сложила руки под щекой. Ну его, этого Винта. Звонка, прозвонившего с восьмого урока, она уже не слышала...

Игорь, как ни странно, не обиделся. Шутил, подмигивал, приносил из столовой горячие пирожки с лимоном и давал Алине откусить. Она, обжигая губы, кусала, хоть и не любила кислого, а по утрам черной тушью красила ресницы. Но приходил вечер – с тенями, шорохами, гулкими шагами и пустотой. Хватал за волосы, шипел в спину, глядел полумертвыми глазами Ольги П., тянул на одной ноте: «Хас-с-с-с». Алина ждала, озиралась, искала в толпе и проулках. Но Зяблик не появлялся, как будто птица Алининой удачи прогнала его из

старого гнезда.

В дверь звонили. Яростно, долго, нетерпеливо. Алина открыла и отпрянула, сметенная ярко-синим ураганом.

– Хо-хо-хо, девчонка! – Ураган, не снимая куртки, бросился ей в объятия. – Тощая-то какая, мать вообще тебя не кормит?

Они смеялись, держались за руки, одинаково морщили носы – крепышка Кира с глазами-блюдцами, гвоздиком пирсинга в ноздре и мелким бесом мальвинистых волос и бледная, но счастливая моль Алина, давние подруги, которые не виделись уже месяца полтора.

– И вновь я посетил! – Кира скинула пыльные «гады» и рванула в кухню, оставляя за собой дорожку дымного запаха. – Чего морщишься, попахиваю? Ну так из леса, вестимо. Вон, штаны еще не стиранные.

– Как поход-то? – улыбнулась Алина.

– А суперско! Папахен рубил дровищи и песнопел как ангел! К нашей палатке стекались массы. Но я кремень. Я нынче, няня, влюблена.

– Да ты что?! – ахнула Алина. В прежние времена на такие вещи у Киры был наложен строгий мораторий.

– Вот так, да, неисповедимы пути-то. – Кира забралась с ногами на стул и хлебнула из Алининой чашки. – А ты, дитя мое, при мужике?

Дитя скромно оправило халатик и кивнуло:

– Кажется, да.

Кира слушала про первосентябрьскую линейку, про конфету, что теперь лежит в кустах на пустыре, про греческий профиль, Вареньку, жаркие руки на Алининой спине, и глаза ее из блюдец превращались в столовые тарелки.

– Ну ты, мать, даешь! Втюрилась! И, главное, какую особь отхватила, тихоня ты наша. Ладно уж, съеду с нашей парты, не бойсь. Сиди со своим Ромео.

– Спасибо! – Алина потерлась щекой о Кирино плечо. – А твой парень – он кто?

– Э-э-э... понимаешь ли, милая... он мне пока еще не парень. Предстоят бои.

– А шансы какие?

– Немалые, красотка, немалые. А пожрать есть чего?

Алина вытащила из холодильника колбасу и вчерашний арбуз, чуть розовый, но очень сладкий, с редкими глазками темных косточек. Соорудив трехэтажный бутерброд и криво покромсав арбуз, Кира резко выдохнула.

– Как на духу, малышка. Этот недопарень – Ванька Жук, дружбанчик твой толстощекий. Такая вот петрушка. Ну, за любовь! – И она вгрызлась в арбузный кусок до самой корки.

Алина вдруг вспомнила пухлую Ванькину ладонь, золотую цепочку и шепот: «Хочу подарить одной». Вот дела! Наверное, классно, когда твои друзья везде целуются и ходят за ручку. И ты как будто с ними, и тебе тоже хорошо.

– Думаю, Кирюха, бои будут недолгими. Есть подозрение,

что и ты ему того самого...

– Откуда инфа? – оживилась Кира.

– Из сердца моего. Как говорится, чую.

– Чует она. Ну-ка, накинь колбаску.

Алина отрезала кусок колбасы и подбросила к потолку.

– А-а-ап! – Кира вскочила и поймала кусок ртом, футболка ее немного задралась.

– А это что?!

На животе с правой стороны, пониже пупка обнаружилась птичка с красной грудкой и пестрым крылышком.

– Точняк! Про татуху-то забыла! – Кира любовно погладила птичку. – Клевая, да?

– Это зяблик, – сказала Алина и тоже провела пальцем по картинке.

– Сама ты зяблик! А это снегирь, зеркала-то протри.

Алина послушно согласилась, мол, да, точно, снегирь. Собрала арбузные корки, протерла стол, задернула занавески, спрятав кухню от уличных сумерек. И поняла, что не расскажет про Зяблика даже Кире, вот этой Кире, которая держит ее за руку последние десять лет. Не расскажет, потому что Зяблик – личное, куда более личное, чем Игорь, и сказать о нем – значит потерять его навсегда.

– А я такое радио нашла, укачаешься! – Кира включила старый Алинин магнитофон и покрутила ручку настройки. Из динамиков полетели скрежет и вопли, словно кто-то пы-

тался выкричать песок, осевший в горле.

– Жутко, – поежилась Алина.

– Мертвый металл, детка, не для слабаков.

Хлопнула входная дверь, мама вернулась с работы. Алина сквозь хрип мертвого металла слышала привычное – вот мама скинула туфли, повесила в шкаф плащ, взяла пакет с продуктами и понесла его в кухню. У зеркала в коридоре задержалась, но только на секунду, вздохнула и зашелестела тапками дальше. Что-то поставила в холодильник, сполоснула руки, зажгла под чайником газ. Сейчас она войдет и скажет: «Девочки, привет!», – а потом: «Кира, да ты поправилась!»

– ...Да ты поправилась, Кира, молодец! Моя-то, видишь, глиста глистой. А с волосами что? Синькой красила?

Кира расхохоталась:

– Ну вы даете, тетя Вик, синькой! А жиру нет, все мышца, во, трогайте!

– Что орет-то у вас так? Будто режут кого.

– Радио, тетя Вик. Наше местное, прикиньте! – И Кира выкрутила громкость почти на максимум. – Вы же учитель, вам в тренде быть надо, хоть малек послушайте.

– Ладно, ладно. – Мама села на краешек кровати. – Только потише, умоляю!

«А теперь минутка новостей, чуваки, – сказала радио и сипло хохотнуло. – Знаменитые „Братья Га“, гнусные рэперы с Поволжья тащат в этот город свои телеса. Билетики дешевые, закупайтесь и вэлкам на концерт!»

«Да-да-да, – затараторил другой голос, – пацаны зажгут в клубе „Предел“ на Коммунаров, 8. Концерт почти ночной, так что ходим кучками, господа и дамы. В нашем некогда тихом райончике все еще орудует маньячилло».

«Страшный и ужасный! – захлебнулся от восторга первый. – Хасс-с-с Павел Петрович. Наш, местного разлива. Здесь родился да не пригодился. В другой городишко съехал вместе с крышей. Наворотил там дел, говорят, чуть не скальпы снимал, а теперь вернулся, гадкий гад, и резвится. Йо-хо-хо, ходим кучками, господа и дамы, ходим кучками».

Кира выключила радио, посмотрела испуганно на маму.

– Теть Вик, это правда?

– Правда, Кира. Город совсем с ума сошел. Сегодня у меня сумку украли в автобусе, представляете? Мальчик, вот такой, как мои, лет восемь ему, не больше. Беспризорный, видно. Две пачки тетрадок пропало. Хорошо, телефон с кошельком в карман положила. Противно, аж слов нет.

– Еще бы! – Кира покачала головой. – Но вообще, согласитесь, теть Вик, сумка у вас беспонтовая была. Туда ей и дорога.

– Точно, – рассеяно подтвердила Алина, сумки и правда было не жаль. Она думала о другом – о том, что все они, Алина, Кира, мама, в страшной опасности. В городе чума пополам с холерой, улицы отравлены и утоплены, мир рушится, как дом из Алининых кошмаров. Жизнь утекает из сжатых кулаков.

А Зяблика все нет и нет.

Воздух был влажным и легким, будто разлитым из молочной кружки. За школой, в низинках, висели клочки тумана. Деревья ежились, теряли листья, и те с хрустом падали в мягкие лапы желтеющей бузины. Руки совсем замерзли. Алина бросила грабли и полезла в карман – за перчатками.

– Развели тут субботники! – Кира лысеющей метлой гоняла по площадке пыль. – У детей и без того треш с угаром – лето сдохло, а они...

– Здорово же! – широко улыбнулась Женя и поправила сползающую шапочку. – Мы вместе, и красиво так... и кленами пахнет. Вот в Канаде осенью...

– Ра-асцветали яблони и груши! – Тонкий голос эхом полетел над рощей. Варенька в теплой курточке и лихо заломленном берете сгребала в кучу яркие листья. – Ну что же вы, подтягивайте!

– А гори оно все! Поем и скачем! – Кира вскинула метлу, как знамя. – Тыгдым, тыгдым, тыгдым!

Женя, смеясь, побежала за ней.

– Выходи-ила на берег Катюша! – нестройный хор взвился и утонул в наплывающей мороси.

Начинался октябрь, ранний, хлесткий, с мокнущей обувью и кленовыми фейерверками. Город натащил в берлогу мха и ельника, взбил подушки, притих перед зимней спячкой. Притих и Хасс Павел Петрович. Портреты его сырели,

слетали со стен, втаптывались в грязь. Поговаривали, что он ушел из города или даже вовсе умер. Но Алина почему-то знала – он здесь, рядом, и таяла под октябрьским дождем, и ничем не могла себе помочь.

– Да кто так гребет, кукла? – Сильные руки выхватили у Алины грабли.

Алекс Чернышев, он же Винт. Как всегда, взъерошенный, хмурый и самый-самый умный – последние три слова Алина мысленно взяла в кавычки.

– Вот, смотри! – Шварк, шварк. – И площадь уборки больше, и тебе легче.

– Сам и гребь, раз умеешь. Нашелся тут!

Алина отвернулась от Чернышева и пошагала прочь – просто так, никуда, лишь бы подальше от этого зануды. Учит, учит. Что ей, учителей мало?

За углом Ванька в горчичного цвета пуховике, круглый, как колобок, запихивал листья в мусорный пакет. Челочка его прилипла ко лбу, и весь он был взмокший, усталый и какой-то несчастный.

– Ты чего, Ванька?

– Да посмотри, как Ермакова вокруг Игорька увивается!

Алина посмотрела. В живот воткнулся тяжелый крюк и стал тянуть вниз, к исчиранному метлами асфальту.

– А тебе-то, Вань, какое дело?

Ванька потянулся к Алинину уху:

– Никому не скажешь?

– Не скажу, не бойся. – Алина чуть отстранилась.

– Она мне нравится.

– Кто? – не поняла Алина.

– Ну Инга... Ермакова. Спать не могу, жрать не могу, все время ее хочу. Я-то ей не больно сдался – мордой не вышел, понимаю... Надо бы к чертям, а фигушки, не выходит. Как в капкане, что ли.

Вот те раз! Значит, в то время, пока Кира спит и видит Ваньку в нежно-розовых снах, этот самый Ванька... влюбился?! В беспросветную фифу Ермакову? Значит, и цепочка золотая, на улице найденная, вовсе не для Киры была. И не будут, значит, Алинины друзья ходить за ручку и целоваться там и тут.

– Не, ты посмотри, посмотри! – Ванька скрипел зубами. – Как она его обхаживает!

– Хватит, Вань. Давай работать.

Алина взяла охапку листьев, сунула в мешок. Потом еще и еще одну. Перчатки мокли, шапка лезла на глаза, и вскипала черным варевом непрошенная злость – на фифу, Игоря, Ваньку, на всех, кто мог бы любить, но почему-то не любит или любит не того. Ну почему, почему нельзя, чтобы радость перепала всем? Просто так, даром. Чтобы не надо было махать кулаками, врать, плести интриги и все равно проигрывать тем, у кого длиннее ноги, круглее попа и толще кошельки.

Вот сейчас, пока Алина вкалывает и потеет, хитрая фифа

топчет каблучками ее, Алинино, счастье. Маленькое, пока не родившееся, испуганное, но уже живое. И потому придется ломать себя, бежать вдогонку, драться, в общем-то, ни на что не надеясь. Всего этого Алина не умеет, но ей придется научиться. И теперь, если Игорь захочет поторопить события, она не станет ему мешать.

– Воды, срочно воды! Жук, бегом, одна нога здесь, другая там!

Физрук Святогор кричал и раскидывал граблями кучу подожженных листьев. Из глубины кучи валил густой пахучий дым.

– Дерюгин, голову оторву за такие дела!

– А чего, нельзя, что ли? – Дерюгин злился. – Все жгут, а мне нельзя?!

– Зря вы, Святогор Юрьевич, – укорила физрука отличница Карина. – Медведь плохого не хотел. Только погреться.

– Да нельзя жечь-то, понимаешь? Вообще нельзя! Ни тебе, ни мне, ни медведю, ни зайчику, никому!

Прибежал Ванька с ведром воды и залил неслучившийся костер. Все стояли вокруг и смотрели, как тает над горелыми листьями последняя струйка дыма.

– Жалко, – вздохнула Женя, – красиво горело.

– Дымило, а не горело, – буркнул Святогор и добавил: – Седова, метнись-ка наверх. Там у Аллы Борисовны цитрамон вроде был. Голова от вас пухнет, бандиты.

Алина кивнула и поплелась за таблеткой. Вечерело. Туман сгустился, придвинулся, и казалось, что кусты у спортплощадки тонут в разбавленном молоке. Школа уютно светила окнами, звенела голосами – в актовом зале репетировал хор, обещала тепло.

В вестибюле сидел одинокий Климов из маминого класса. Уже одетый, он прятал нос в толсто намотанный шарф и читал учебник.

– Ты чего тут? – спросила Алина.

– Папа опаздывает. А одному нельзя, там маньяк детей ест.

– Да ну тебя! Перестань!

– Ест-ест. – Климов сдвинул бровки и легко толкнул Алину в живот, мол, иди, не мешай читать.

Алина было пошла, но тут входная дверь хлопнула так громко, что оба они вздрогнули, а Климов даже выронил учебник.

– Вы чего, испугались? – Игорь в распахнутой куртке, с кленовым букетом стоял на пороге и улыбался Алине. – Вот трусы-штаны. Держи цветочки-то!

Алина спрятала лицо в янтарные листья и едва не заплакала. От радости, конечно. И чуть-чуть от зло-радости. Потому что фифа Ермакова осталась мерзнуть в тумане. А она, Алина, здесь, с Игорем, и в руках у нее – подарок, самый первый и самый настоящий.

Борисовны в классе не оказалось. Но свет горел, и сумочка – сундучок из твердой кожи – все еще стояла на учительском столе.

– В сумке, наверное, цитрамон, – посетовала Алина, – ждать придется.

– А может, там? – Игорь выдвинул ящик и приподнял какие-то бумаги.

Алина полезла было в тот же ящик, но по дороге ткнулась Игорю в плечо, да так и осталась. Хотелось обнимать сильное гибкое тело, гладить его, вдыхать тонкие запахи. Но и этого Алина не умела. Мама не учила ее нежности – только долгу. А долг сейчас велел вести себя скромнее.

– Мир злокознен, – тихо сказали сзади, – все воруют, даже чада.

– Что?! – хором спросили чада и обернулись.

В дверях стояла высокая худая старуха и показывала пальцем на ящик, в котором Игорь искал цитрамон.

– Грешно красть.

– Послушайте, мы не крадем! – возмутился Игорь.

Старуха недобро зыркнула на него и медленно повторила:

– Грешно.

Потом подошла ближе. В ее некрашенных волосах, туго скрученных в узел, торчала шпилька.

– А ты, маленькая женщина, не склонна ли к разврату?

– Я? – Алина испуганно отступила. – Нет.

– Мужчину трогаешь, – покачала головой старуха и снова

добавила: – Грешно.

Игорь фыркнул:

– Вы еще скажите, что у нас в стране секса нет!

– Ума у тебя нет. Девку на дно тянешь.

Игорь театрально схватился за виски и пробасил:

– Вот ужас-то како-о-ой!

– Лидия Васильевна, здравствуйте! – Борисовна вошла в класс, и Алина с облегчением вздохнула. Кто ее знает, эту старуху, может, она сумасшедшая. Со взрослым человеком как-то спокойнее.

– И вам не хворать, Алла Борисовна. Ученики-то меры не знают. В столе вашем роются аки кроты.

– Игорь? – вскинула брови Борисовна.

– Мы за цитрамоном, – Алина поспешила на помощь, – у Святогора Юрьевича голова разболелась.

– Ну так он в сумке у меня. Вот, держите.

Игорь взял упаковку и подтолкнул Алину к выходу.

– Мы пойдем, Алла Борисовна?

– Идите-идите, темнеет уже, пора сворачивать ваш субботник.

В коридоре Игорь зашептал:

– Что за бабка, интересно? Давай послушаем, о чем они там. Я дверь не до конца закрыл.

– Неудобно, – смутилась Алина.

– Неудобно спать на потолке, – отрезал Игорь и приник ухом к щели.

Алина, чувствуя себя преступницей, устроилась рядом.

– Лидия Васильевна, вы меня простите, но ваши методы воспитания плохо сказываются на девочке, – говорила Борисовна, – с ней никто не дружит в классе.

– Не нужны нам друзья-охальники.

– Всем нужны друзья, Лидия Васильевна. И никакие они не охальники. У них возраст такой – строят модели межполовых отношений.

– Сын мой во браке строил! – обиделась старуха. – Потому и прибрал его с женою бог – там, у бога-то, чище. А меня тут оставил за девкой глядеть. Уж пятнадцать лет гляжу, как умею, и дальше буду. Не указ вы мне.

– Но поймите, Лидия Васильевна, у Жени большие проблемы. Еще немного, и может случиться беда.

– Беда – она всегда рядом. Случится, значит, на то воля божья. А мы с Евгенией по совести живем. И вам того желаем.

– Пойдем. – Алина потянула Игоря от двери. Ей вдруг стало нестерпимо стыдно – так, будто она, хохоча, вломилась в комнату с раздетым человеком.

Свет в коридоре не горел, только на лестнице, и лицо Игоря было бледным, с черными кляксами вместо глаз. Громко тикали настенные часы. В приоткрытую форточку летел бодрый голос Святогора, видно, ему стало лучше и без таблеток. Алина держала Игоря за руку и молчала.

– Ты чего? – удивился он. – Опять испугалась?

– Не знаю, может быть.

– Да это блаженной бабка! Такая же долбанутая! – Он покрутил пальцем у виска. – Яблочко от яблоньки.

Отчего-то стало противно, Алина отдернула руку. Но тут Игорь обнял ее за плечи, и мир покатился с горки – вдаль, за холмы и реки, туда, где цветут яблони и птица зяблик поет свою чистую песню.

Климова в вестибюле уже не было – непутевый папа наконец-то приехал за ним. Игорь посадил Алину на скамейку, а сам побежал к Святогору – отдать лекарство и отпроситься домой.

– Сегодня вместе идем, – сказал он строго, – и не спорь!

Алина не спорила.

Она думала о том, что Женя совсем, совсем одна. Ни папы, ни мамы. Бабушка – вот такая, с трескучим голосом и мерзлыми глазами, конечно, не в счет. Женю не любят в классе, обижают на физкультуре, даже некоторые учителя смотрят на нее косо. А она живет. Каждое утро встает, умывается, надевает простенькое платье, приходит в школу. Там слушает насмешки, после возвращается домой, но даже дома ее некому защитить. У Алины хотя бы есть мама. С ней можно посидеть рядышком, поболтать – пусть о ерунде, не о главном, но зато вслух. Даже поплакать можно, без истерики, чтобы не напугать. А с кем болтает и плачет Женя? Сама

с собой?

Хор в актовом зале помолчал немного и снова разлился многоголосьем. В подсобке уборщица уронила ведро, и оно с грохотом покатилося по полу. Со стенда на Алину угрюмо посмотрел Павел Петрович Хасс. Кто-то подрисовал ему фингал, и от этого он стал еще страшнее. Если бы у Алины был отец, пусть даже безголовый, как у Климова, все шло бы по-другому. Он бы забирал ее из школы и вел за руку домой, и никакие хассы не крались бы за ними в темноте. Но отец сбежал от мамы, когда Алине исполнился год, а потом и вообще уехал из города. То ли за новой жизнью, то ли за новой дочерью. Старой, уже ненужной дочери оставалось лишь надеяться, что он вернется. Все ведь когда-то возвращаются. Даже Хасс, как сказала Кирино радио, сел в поезд и приехал. Не вернется только Женин папа, и Женя знает, что ждать его не имеет смысла.

Фонари на Куйбышева горели через один. Из черноты на свет вытекали островки травы, листья, смятые окурки, иногда – лица, чаще усталые или злые. Жимолость плотным забором стояла вдоль домов, щетинилась, тянула кривые руки, цеплялась за куртки. Там, за месивом кустов, слышались грубые голоса, хохот, женские взвизги. Но все это не касалось Алины, потому что рядом с ней шел Игорь и в глазах его плясали голубые искры. Кленовый букет, буро-желтый, с запахом легкой горечи, чуть царапал лицо. Алина смотрела

поверх листьев на ровные линии уха, шеи, светлых, недавно стриженных волос и пьянела все сильнее, хотя понятия не имела, как это – пьянеть.

– А домой-то не хочется. – Игорь потянулся и вопросительно посмотрел на Алину.

– Не хочется, – согласилась она.

– Тогда гуляем?

– Ну... да.

Это первое «да» было таким тихим и неуверенным, что Алина сама себя не услышала. Но Игорь все понял, взял ее за руку и повел в темную улочку со слепыми окнами домов. С каждым шагом отдалялись голоса, сумерки становились гуще, и крепче сцеплялись пальцы, сильные, горячие – с холодными и тонкими, как птичьи лапки.

У пивной будки с косым подоконником они остановились. Мяукала кошка – грустно, будто жаловалась, в канаве булькала вода, старый вяз ворчал и ронял дождевые брызги.

– Не бойся, – шепнул Игорь.

И снова – змеи, ползущие по спине, но теперь знакомые и оттого почти не опасные. Чужое дыхание – на щеке, шее, почти на самых губах... Вот сейчас, сейчас оно случится, и Алина наконец станет целованной. И это важно, потому что все, все уже по сто раз, даже Кира... Мягкие губы, такие мягкие... а у нее, Алины, сухие, искусанные... помаду нужно, прямо завтра...

– We will we will rock you! – грянуло у Игоря в кармане.

– Вот черт! – Он отпустил Алину и вытащил орущий телефон. – Алло! Да, пап! Нет, пап, я еще не дома. Ну догадайся, почему! Скажи маме... ладно, ладно, сам скажу...

Голос Игоря был гулким, словно затертым. Темнота забижала его, рвала на кусочки, прятала по углам. Алина не слышала слов, только оттенки – раздражение, нетерпение, обида. Стало ясно, что вечер испорчен. Но Алине не хотелось в это верить, и она нарезала широкие круги, согреваясь и надеясь на продолжение.

– Отец чудит, срочно домой требует. – Игорь, хмурясь, смотрел мимо. От прежней нежности не осталось и следа.

– Пойдешь?

– А что мне остается. Давай до угла вместе, а потом разбежались.

– Как разбежались? – Алина тревожно огляделась. – Темно же, я... не могу без тебя.

– Не дури, а? – Игорь начинал злиться. – Тут идти минут двадцать, до проспекта – вообще пять.

– Ладно, я поняла, – сдалась Алина.

Игорь кивнул, развернул ее на сто восемьдесят, легонько подтолкнул. Но обнять – не обнял и за всю обратную дорогу не сказал ни слова.

Как только Алина осталась одна, улица схватила ее, сжала в объятиях, окунула в чернильную тьму. Слева разевал мутную пасть пустырь, справа щерился забор – невысокий, дере-

вянный, с рекламными заплатками. Из-за него выглядели краны с яркими точками на макушках. Фонари светили впереди, на проспекте, а здесь, у Алины, все было контурным, тусклым, будто вовсе не живым. Никто не шел ни навстречу, ни сзади, и это значило, что ей придется выплывать совсем одной.

Лямки рюкзака резали плечи – Алина набрала в библиотеке книг, простых, почти детских, с крупным шрифтом и героями, которые не душат на темных улицах. Книги, пока не прочитанные, радовать не спешили, тяжелили, тянули мохнатыми ручками вниз. Ничего, пусть так. Отвлечься, не думать, не слушать – просто переставлять ноги и смотреть вперед, туда, где горит свет, ездят машины и спешат по своим делам обычные люди.

А потом она услышала, что сзади кто-то идет, шаг в шаг. Сразу намокло под грудью и зубы больно прикусили язык. Шxxx – подсохший Игорев букет разлетелся по асфальту. Алина остановилась, сдернула капюшон, сделала вид, будто роется в карманах. Прислушалась – тишина, лишь гудит вдалеке засыпающий город. Пошла, и снова – туп, туп, туп.

А если это – он, тот самый? С косою ухмылкой, тусклым взглядом и пакетом, в котором нельзя дышать. Идет, не скрываясь, пыхтит, топает, потому что здесь, в сизой глуши, он в своем праве. И остается только одно – ждать, когда жесткие руки сцепятся у тебя на горле.

Алина резко обернулась. Метрах в шести кто-то стоял. Не Хасс – этот был худой, высокий и, кажется, длинноволосый.

– Привет, – сказал он и осветил себе лицо зажигалкой.

– Зяблик! – закричала Алина. – Зябличек, ты!

Хотела кинуться к нему, но не посмела – а вдруг пропадет, растает, как только она шагнет навстречу?

– Чего тебе здесь? – спросил Зяблик.

Пламя красило его лицо оранжевым, лизало то нос, то кусочек щеки.

– Меня тут... бросили, – всхлипнула она.

– Ты что, фантик, чтобы тебя бросать?

– Нет, но...

– Глупо. Бродят тут всякие, а ты – фантик.

Бродят? Кто?! Алина чуть присела, заозиралась, стала зачем-то снимать рюкзак.

– Иди, – тихо сказал Зяблик и дернул подбородком, – домой.

И Алина послушалась, пошла.

Сначала нетвердо ступая, вздрагивая, а потом почти легко, без страха – как будто не было ни черноты, ни бешеного ублюдка, костью застрявшего в глотке старого города. Она знала – Зяблик идет следом, хоть и не слышала больше его шагов.

Над подъездом горела яркая лампочка. Алина остановилась на грани света, чтобы видеть, что там, позади. Негром-

ко, вполголоса, позвала:

– Эй!

Ответа не было.

Тогда она, вдохнув поглубже, выпалила:

– Поговори со мной! Ты мне нужен!

– Посмотрим, – ответила темнота и весело добавила: –

Туп-туп-туп-туп-туп.

Рыжие ботинки на толстой подошве уносили Зяблика в ночь.

– Совсем с ума сошла? Не знаешь, что в городе творится?! – Мама, налитая красным, кричала, и руки ее тряслись.

– Да еще только десять...

– Только десять?! Ты за окно посмотри, тьма кромешная!

Телефон выключен, сама пропала. Как это понимать?!

– Я гуляла.

– С кем, с кем ты могла гулять так поздно? Кира вон дома давно.

Ответить маме было нечего.

Алина, не поднимая глаз, стянула куртку. Та выскользнула из пальцев и разлеглась посреди коридора. Плевать. Бросила туда же шарф и шапку. Сковырнула с ног ботинки. Ушла в свою комнату, с грохотом хлопнув дверью, и лицом вниз упала на кровать.

– Я вообще-то не закончила! – Мама в плохо запахнутом халате влетела следом. Ее кудряшки, распустившиеся за

день, висели паклей.

– Ну чего тебе? – простонала Алина. – Я устала.

– Ты... ты как с матерью разговариваешь? Это кто же научил тебя?

Алина, закипая, прошипела:

– Да кто меня мог научить? Только ты! Или это кровь отцовская играет, а? Сама говорила – вся в отца!

– Вот только о нем сейчас не надо! – Мама треснула кулаком по столу. – Даже имени его знать не хочу!

– Ужа-а-асное имя, – закривлялась Алина, еле сдерживая слезы, – Паша-Пашенька-Петрович!

И осеклась.

Паша. Пашенька. Павел Петрович. Три недели назад держал за шею Ольгу П., все крепче сжимая пальцы. Павел Петрович... уехал из города, сошел с ума и вернулся.

Но этого не может быть.

– Мама, – заплакала Алина, – мамочка, прости, пожалуйста. Мне очень, очень плохо. Никто меня не любит, все меня бросают, понимаешь?

– Детка моя, да что ты говоришь? – ахнула мама и прижала Алину к себе. – Перестань, я тебя люблю и никогда не брошу.

– Знаю. – Алина ткнулась носом в теплый живот, вдохнула знакомую смесь молока и детского крема. Взрослеть было отвратительно, и Алина обеими руками держалась за мамин

фланелевый подол.

Папа старше мамы на четыре года, маме – сорок шесть, значит, папе пятьдесят. Вот черт! Тоже пятьдесят... Алина судорожно обкусывала ноготь. Фотографий папиных нет, ни одной, проверить ничего нельзя. Но если ее подозрения верны, то она, Алина, как бы это сказать... порченная. С гнилой кровью, которую надо вылить всю, продырявив кожу и вены. Но разве такое возможно?

Алина открыла браузер и в строке поисковика набрала:

Хасс Павел Петрович дочь

Застыла, поглаживая клавиши ноутбука. А хочет ли она знать? Папа – это веселый крепыш с льняными волосами, мягкими ладонями и морщинками у губ. По утрам он варит вкусную кашу и поднимает гантели. Еще у папы есть кисет с пахучим табаком, про который он говорит *трофейный*, и собака. У собаки длинные уши и жесткий хвост. Собака подает лапу добрым людям и лает на чужих. Собака лает, а не папа. И клыки со слюной и кровью – это вовсе не про него.

Плюк! В окошке соцсети повисло новое сообщение.

Игорь. Как ты добралась?

Алина. Нормально.

Игорь. Прости, пожалуйста. У меня строгий отец. Иногда

я его ненавижу.

Алина. Ладно. У меня строгая мать, и я знаю, что такое ненависть.

Игорь. Вечером, говорят, опять на кого-то напали. Если бы на тебя, я бы умер.

Алина. Хах. Я умерла бы раньше. И, кстати, я растеряла твой букет.

Игорь. Я подарю тебе новый.

Алина крупно заколотилась, выдохнула в самый экран:

– Подари.

Снова открыла поисковик. «Хасс Павел Петрович дочь» – поддразнил он и замигал рекламой.

– Да пошел ты, – сказала ему Алина и нажала кнопку «Найти».

Глава 5

История стекла

Платье с шелестом легло на пол. Я прикрыл глаза и наступил на него босой ногой – словно вошел в озерную волну. Мария взяла мою руку так по-детски, за указательный палец, и положила себе на грудь. Пальцы сжались, и мне при виде бутона большого цветка с туго собранными лепестками. Горячие губы скользнули вдоль ключицы, коснулись шеи, подбородка, шепнули «Мой». Я хотел ответить, но не смог – захлебнулся запахом пряной кожи. Там был сочный шиповник, что пылится на солнце в июле, и полынь там была, и болотный дурман. Голова кружилась, хотелось скорее, скорее, но я лишь терся о влажное плечо и прижимался животом к животу.

Потом шла война, без крови и ран, но с яростью и коротким криком. Волосы наши сливались, путались, лезли в рот. Ныли колени и бедра, вдоль позвоночника выступала соль. Мария ныряла под меня, угрем выкручивалась обратно, жалила языком. Мир рушился и строился заново – до той самой точки, за которой наступила тишина.

– Знаешь, – сказала Мария из этой тишины, – у тебя красивый пупок.

Я засмеялся и стряхнул с себя ее руку.

- Вот еще! – Рука вернулась и медленно поползла вниз.
– Нет, – отрезал я, – сейчас дядя Бичо, а это в другой раз.

Полгода назад, в апреле я забежал по делу на старые верфи – сомнительный райончик у реки. Типы там шастали мутные, и я на них особенно не пялился, мало ли что. Но один подвысохший стручок держал за воротник девчонку чуть старше меня, чернявую, с ярким ртом. И все бы ничего – и стручок был приличный с виду, и за плащ он цеплялся мягко, без напора, но девчонка его боялась. Я сразу это понял, как только посмотрел ей в глаза.

– Вино хорошее, французское, – говорил стручок, – тебе понравится.

Она пыталась улыбнуться, но губы ее кривились, и грудь тяжело ходила под плащом. Задрал брови домиком, мол, маленький и глупый, я ахнул и бросился к ним:

– Ирка, вот ты где! Батя обыскался, с ремнем по дому скачет. Завтра в школу, а ты шляешься...

Нехитрый прием сработал – стручок отпустил воротник, ссутулился.

– Дрянь малолетняя, – пробубнил, – под срок бы подвела.

Когда стручковая спина свернула за угол, девчонка толкнула меня в плечо и заорала:

– Да кто тебя просил?!

– Ну вот, – усмехнулся я, – пропал мужик твоей мечты.

– Дурак, – процедила она, – мечта моя – долг отдать, а

этот денег обещал, много.

Получалось скверно. Девчонка заработать хотела, а я ей клиента спугнул. Вот только не похожа она была на *работящую*. Обычная девчонка, хоть и красивая. Губы полные – такие, что в животе тянет, и кожа с бронзой, и глаза... емкие, цвета июльского щавеля.

– Чего уставился? – огрызнулась девчонка. – Сам что ли хочешь?

– Хочу, – честно ответил я.

– А деньги у тебя есть, братишка? – Она всхлипнула и пошла от меня, черпая грязь легкими летними туфлями.

Денег я ей все-таки дал. Во-первых, она мне нравилась – живая, с быстрой кровью, гордая по-своему. Ну и бесстыжая, конечно. Это я особенно ценил, хотя и привык не сразу. А во-вторых, семья у нее оказалась полезная. Родители умерли, но остался дядя Бичо, мрачный бугай с чернющими глазами. Серьезный человек, только неграмотный. Писать-читать он слегка умел, но в остальном... Впрочем, в квартале его уважали. Слово дядино было железное, кулаки – и того крепче. А уж про ребят, что к нему ходили, даже шептаться боялись. Трое его сыновей, такие же смуглые и крепкие, как сам дядя, работали в приличных местах – младший, Милош, вставлял стекла, а старшие гоняли фуры и редко бывали дома.

Кроме Марии, так звали мою *сестричку*, женщин в семье

не было. И все тряслись над ней крупной дрожью. Я долго не мог понять, почему меня терпят, понимали же, что не в городе играем в дальней комнате. А потом ясно стало – Мария им про деньги рассказала. Она ничего не умела скрывать долго. Задолжала по глупости одному упырю, а дяде признаться боялась. Думала, ляжет под кого, подумаешь – один раз, первый и последний. Руки мне потом целовала, что стручка того отогнал.

Дядя Бичо денег обратно не совал. Понимал – раз дал, значит, мог, тут и говорить не о чем. Получалось, я хорошо вложился, такое всегда окупается, причем с лихвой. И сейчас, целуя Марию в теплый висок, я знал – дядя в просьбе, скорее всего, не откажет. Надо только правильно попросить.

Хасса я искал примерно неделю и никаких результатов не получил. То есть совсем никаких. Мои приятели разных мастей клялись, что *этот психопат* им не встречался. Известные мне нычки пустовали, там, очевидно, давно никто не жил. Простые пути обрывались один за другим, и первые ноты отчаяния уже прозвучали гаденьким аккордом.

Боялся ли я, что менты найдут его раньше меня? Да, боялся. Еще больше боялся, что он снова усядется в поезд и покатит к чертовой матери. И потому я торопился и думал, все время думал, как же быть дальше.

Логика получалась такая. Если мы с ментами не можем отыскать Хасса в городе, значит, его кто-то прячет, и пря-

чет хорошо. Он не ходит в магазин за продуктами, иначе его давно бы сдали, а жрать, ясное дело, нужно. Видимо, кто-то носит ему еду. Но куда? И кто этот человек? Первым делом я подумал о прежних знакомых Хасса. Почему бы кому-то из них не приютить старого товарища или, что еще вероятнее, любовника? Своих воспоминаний у меня не оказалось, и я пошел к матери.

Разговор получился коротким.

– Столько лет прошло, мальчик, разве я вспомню?

– А ты постарайся.

Я сидел на полу, положив подбородок ей на колени. Шел дождь, и его шепот был громче моего.

– Зачем тебе? – Мать погладила меня по носу.

– Надо, – ответил я, и она не стала возражать.

Свет торшера вычерчивал на ее лице желтый треугольник. Остальное тонуло в ночной тени, вязкой, как старое варенье. Я поцеловал теплую ладонь, спрятался в ней норным зверьком.

– Пожалуйста.

– Хорошо, мальчик, я подумаю.

– И еще. Этот ублюдок... он где-то здесь. Будь осторожна.

– Буду, мальчик, – улыбнулась она и столкнула меня с колен.

На заводе, где когда-то работал Хасс, я ничего не узнал. Сокращенные в годы упадка люди давно осели в других ме-

стах. Новый же отдел кадров знать не знал про Хасса Павла Петровича, документы которого затерялись много лет назад. Конечно, я надеялся на мать, но ждать, ничего не делая, не мог. И тогда появилась новая нить, тонкая, путаная, в чем-то даже опасная. Нащупать ее конец было непросто, и я долго прикидывал, как мне поступить.

Говорили, в городе или рядом с ним есть место – вроде район и район, но живут там только *свои*. Забрести случайно невозможно, прийти без провожатого – тоже. И главное, ментам туда хода нет. Так вот, если *свои* кого спрячут, привет, пропал человек, нипочем его не найти. Получалось, теоретически Хасс у них затаиться мог. За какие заслуги – неясно, но заслуги меня не касались. Время поджимало, и я торопился размотать все возможные клубки.

Вот за таким клубком я и пришел к дяде Бичо. Если он и не был *своим*, то знал наверняка, как до них добраться. И мне очень хотелось верить, что Мария, спасенная от долгов и стручка, стоит этой информации.

Дядя Бичо сидел за столом – большой, чуть оплывший, в войлочных ботах. Из-под маечного ворота торчали жесткие волосы.

– Подойди, – сказал он Марии.

Та порхнула птичкой, и дядя поцеловал ее в лоб.

– Чего довольная такая?

Мария прыснула и покосилась на меня.

– Здравствуй, Зяблик, – улыбнулся Милош, младший из братьев.

Старшие кивнули и взяли по куску хлеба из плетеной корзинки. Они были почти одинаковые – густобровые, темноглазые, с толстыми губами и руками. Только Петер говорил хрипло, почти рычал, а Петша бархатно выпевал гласные и слегка картавил.

– Поешь с нами? – Дядя Бичо смотрел ласково, и я подумал, что шанс наверняка есть.

Мария разлила по тарелкам суп – хороший суп, мясной. Я ел и слушал, как кричат во дворе пацаны, пиная мяч. Тяжелый, он бился в стенку с глухим *бум-м-м*, но Бичо и сыновья стенки не жалели. Здесь жили одной семьей и соседских детей не гоняли, ну разве что совсем обнаглеют. Дом Бичо держал свой, в один этаж, с сенями, кухней и теплыми комнатами. Мария спала в дальней, с окном, выходящим на заросли акации и дровяной сарай. Иногда и я там спал – без сил, без снов, с пустой и глупой головой.

Пацаны спорили, грозили друг другу братьями. Супница пустела, на смуглых лбах выступали капельки пота. А нога Марии в белом носочке гладила мою ногу – от пятки до самого паха.

– Хотел чего? – Дядя Бичо отложил ложку и прищурился. Он всегда знал, по делу к нему пришли или нет.

– Человека ищу, – я решил не темнить, – спрятанного человека.

Бичо дернул подбородком, и все, даже Петша с Петером, поднялись из-за стола. Мария не спеша подвязала волосы, собрала посуду, хмыкнула куда-то в потолок – обиделась. Но эти дела ее не касались, и обижаться она не имела права.

Когда мы остались одни, Бичо поманил меня пальцем, потом тем же пальцем показал на табурет. Я подошел, скрипя половицами, и сел, куда велели.

– Кто? – Дядя дыхнул мне в лицо вчерашним луком.

– Хасс Павел Петрович.

– Это который? Псих?

– Да.

– Не видал. – Бичо откинулся на спинку стула, мол, не о чем больше говорить.

– Может, кто из ваших видал? – не сдавался я.

– Видал, не видал, – сморщился дядя, – у моих в каждом доме по бабе. А Хасс твой до баб охоч. Сдали бы, и весь сказ.

Я вцепился ногтями в табуретку. Оставался последний вопрос, и задать его нужно было так, чтобы получить ответ.

– А если его прячут... *там*? Дядя Бичо, вы же знаете...

– Гетто, что ли? – Он покачал головой и поднялся. – В гетто хода нет.

– И вам? – дернулся я. – Не может быть!

– Хода нет, – мрачно повторил дядя и двинулся к двери.

Он не хотел расплачиваться со мной, во всяком случае, расплачиваться так. Хасс жировал в этом чертовом гетто,

спал на мягком, не боялся подступающей зимы. Стоило только руку протянуть, чтобы схватить его за шкварник. Но сколько я ни тянул, пальцы мои хватали пустоту.

– Дядя Бичо...

– Дружка своего спроси, Хряща. Он вхож.

– Хряща? – Я вскочил. – Хрящ не скажет, дядя Бичо.

– Скажет Хрящ. Ты ему про *гнейс* напомнишь.

– Что за *гнейс*? – удивился я.

– Не твое дело.

Не мое, так не мое.

– Спасибо, дядя Бичо. Вы очень помогли, честное...

– Машку не обижай. – Он кулаком толкнул дверь и вышел в темный коридор.

Пацан рычал, скалил зубы и, как маленький волк, бросался на обидчиков. Те хохотали, пинали его ногами, валяли в грязи. Дурак мелкий, подумал я, влез, куда не надо, теперь получай. В Брошенном краю чужих не жаловали, особенно здесь, на территории Хряща.

– Лежать! – кричали они и толкали пацана в грудь. – Ползи, червячина!

Командовал ими визгливый толстяк в черной кепке – тот самый Жир, что закапывал яму под Берлогой. Я подошел, встал позади него, покашлял. Жир воровато оглянулся, вытер рукавом нос и буркнул:

– Чего?

Остальные расступились, знали – при старшем лучше не рыпаться. Побитый пацан сидел на земле, перемазанный глиной, и мерно всхлипывал. На меня он не смотрел, видно, ничего хорошего не ждал. Лет восемь ему было, не больше. Тощий, с путаными светлыми кудряшками, ручонки – только возьми, хрустнут. Такому бы дома сидеть, а не шляться по здешним местам.

– Где Хрящ? – спросил я Жира.

– Уехал.

Жир нетерпеливо топтался, позыркивая на дружков. Ему хотелось, чтобы я поскорее ушел и расправа над мелким продолжилась.

– Когда вернется?

– А мне почему знать? Я ему что, мамка?

– Прикажут, – зашипел я, – будешь и мамкой, и бабкой, и черт-те чем еще.

– Ну не знаю, честно, – присмирел Жир, – через неделю приходи.

– Ладно. А это у вас кто?

– Кто надо. – Жир снова начал злиться, даже покраснел под кепкой.

– Отпусти, пусть валит.

Пацан вздрогнул, поднял лицо, и я его узнал. Дней десять назад он спер у тетки сумку в автобусе – хитрый, в рваных штанах, с голодными глазами. Да, таким дома не сидится. Если он вообще есть, этот дом.

– Эй! – возмутился Жир. – Мы его нашли.

– Вы нашли, а я забираю.

– Не имеешь права!

Он отвернулся, кивнул остальным – мол, бейте дальше, чего стоите.

Я влепил ему оплеуху. Кепка отлетела, на круглом затылке открылась смазанная зеленкой плешь. Под вопли Жи́ра все побежали к сараям, смешно пригибаясь, будто я хотел в них стрелять.

– Ты не понял, что делаешь! – бесновался Жир, отряхивая с кепки грязь. – Отомщу, как два пальца!

– Уж не битыми ли стаканами ты мстишь? – тихо спросил я.

Жир замер, хрюкнул, потом решился:

– Может, и стаканами! Ты карманы-то проверяй.

Отлично, вот и прояснилось – Жирова работа. Куртка тогда лежала на ящике у крыльца, я только сейчас это вспомнил. А он копал рядом, злился и думал, как меня наказать. Придумал, гаденыш. Надо было врезать ему сильнее, до звона по всему Брошенному краю. Но, в принципе, хватало оплеухи и напроць испорченной игры.

– Чеши отсюда, хренов диверсант, – усмехнулся я, а мелкому бросил: – Вставай.

Жир выругался и вразвалку пошел по пустырю – вроде как ничего не боится и спину не прикрывает. Но я знал, что он трясется от страха, и с трудом удерживался от того, чтобы

пугнуть его вдогонку.

Мелкий по-прежнему сидел в липкой жиже, только реветь перестал. Колючие глазенки смотрели на меня с восхищением. Этого еще не хватало.

– Вставай и уходи. Сегодня уже не тронут.

Он поднялся, вытер кровь с разбитой губы и серьезно заявил:

– Ну нет, теперь я с тобой.

Голос у него был колокольчатый, как у девчонки, и шея совершенно цыплячья. Но кулачки сжимались по-взрослому, словно он всегда и все решал сам.

– А ты мне нужен? – спросил я.

Мелкий пожал плечами.

– Вот и ответ. Шагай и дорогу сюда забудь. Больше не помогу.

Темнело, но в сумерках я еще различал светлые вихры и микки-маусов на куртке, слишком легкой для нашей осени. Он тер губу, рыл сапогом ямку и ждал, когда его позовут. Но ждал, разумеется, напрасно. Я махнул ему и пошел к Берлоге – накануне там остался материн хлебный нож. Мелкий запыхтел и потащился следом. Ботинки его чавкали в размытой дождем глине.

Он плелся за мной, как собака или кот, вырванный из живодерских рук. Такого погладишь разок, и всё, потом не отвяжешься. Будет бежать, крутить хвостом и жалко ныть – возьми меня, возьми. Поэтому я решил вопрос разом, без

сюсюканья. Обернулся и накричал на него, плохо так накричал, обидно. После третьего «пошел вон» мелкий сник, натянул капюшон и поплелся в сторону жилых кварталов. Я с облегчением вздохнул. Прицеп с ребенком был мне сейчас совсем некстати.

В прихожей стояли большие ботинки, размера сорок пятого, а то и сорок шестого. Висела куртка с мягкой подкладкой и на куртке – шарф. Из кухни непривычно тянуло грибами и рыбой. В дом явился чужой. Я понял это не только по запаху и ботинкам, но и по голосу матери – низкому, с крупинками смеха и стыда. Так она говорила с самцами, то есть годными, по ее мнению, мужчинами. Но сюда самцов еще не водила.

Моего прихода никто не заметил. Болтали, гремели вилками, наливали чай. Я стоял в дверном проеме и ждал. Наконец мать обернулась:

– Мальчик. Ты пришел.

Обернулся и самец.

Песочная щетина, песочные глаза, и в глазах – улыбка пополам с железом. Мол, пришел-то с миром, но уйти – не уйду, хоть тресни.

– Привет, боец, – весело сказал он. – Как раны, заживают?

Случайные встречи одна за другой вырождались в неслучайные. Сначала пацан из автобуса, теперь этот, песочный. Кто он там, врач, кажется? Не зря во дворе у нас ошивался в

тот день, когда я руку порезал, – к матери приходил. Думаю, приходил и потом. Сидел вот так, на моей табуретке, чаек попивал, слушал ее крупитчатый голос. А я гонялся за призраком Хасса и ничего не знал.

– Ну, – песочный привстал, – будем уже знакомы? Я Денис Анатольевич, если нравится, просто Денис.

– Зяблик, – я пожал горячую ладонь, – если не нравится, не зови никак.

– Зяблик так Зяблик, – ничуть не обиделся он, – садись, мы тут наколдовали – пальчики оближешь!

Спасибо, одному мы уже лизали руки, и я, и мать. Вели себя тихо, ничего не просили, слушались как могли. И что? Он все равно нас предал и наследство оставил дрянное – матери шрамы, а мне слепой охотничий инстинкт. Вот этот инстинкт и зудел сейчас в самое ухо: «Ату его, Зяблик, ату».

Песочный положил на тарелку кусок рыбы – розовой, с седоватой пленкой по бокам. Из-под сырного припека торчали крупные кольца лука. Видно, он эту рыбу и принес, вместе с грибами, которые я на дух не переносил. Мать, тоже розовая, румяная, села напротив и стала смотреть – то на него, то на меня, словно выбирая, кто лучше. Еда оказалась пресной, чай горьким. Было душно, шумела вытяжка, и в висок мне туго ввинчивался шуруп.

– А мы в поликлинике познакомились, – улыбнулась мать.

– Ага, – песочный хлебнул из чашки, – я педиатр, детишек лечу.

От горячего он вспотел и снял рубашку. На плече, туго обтянутом футболкой, синел недавно набитый часовой механизм. Шестеренки цеплялись одна за другую, искрились. Стрелки циферблата, похожие на змей, показывали семь сорок пять. К запястью спускались сухожилия – вполне человеческие, но оплетающие стальной скелет. То-то детишки радуются, когда это видят.

– Зачем ты ходила к педиатру? – спросил я.

– Мишеньку водила, с третьего этажа. Сима Васильевна приболела, а больше там некому.

– Помнится, *тот* тебе тоже в клинике подвернулся.

Это была правда, мать разговорилась с Хассом в очереди к врачу. Тогда он еще мог показаться нормальным, и оказался, и угробил два года нашей жизни – ее и моей.

Песочный на слове *тот* напрягся, но лишнего спрашивать не стал.

– Не ершишь, парень, – он подлил себе кипятка, – расскажи лучше, чем занимаешься.

– Ничем.

– Так не бывает. Все чем-то занимаются.

– Курьером служу, бумажки туда, бумажки сюда.

Мать слушала нас с интересом, даже вперед подалась. Вырез на ее платье стал совсем глубоким, но песочный в вырез не смотрел.

– Сколько же тебе лет, курьер?

– Шестнадцать, доктор.

– А школа как же?

– Да никак. Дурачок я, слабоумный, не гожусь ни на что. Только бумажки туда-сюда.

Песочный смутился, беспомощно глянул на мать. Та покачала головой, придвинула к себе сахарницу, но сахар сыпать не стала – ложка звякнула о край и снова легла на стол.

– Зачем ты так, мальчик? Нехорошо говоришь.

Я пожал плечами.

– Он у меня умный очень. – Мать опустила глаза, словно ей было неловко. – Позапрошлой весной аттестат получил, за одиннадцать классов. Все пятерки. Дипломов – целый ящик, за математику и по другим предметам тоже.

– Вот это да, – присвистнул песочный, – а чего курьер-то? Учился бы дальше, в люди вышел.

– В люди?! А я уже в людях. Только для тебя они пшик, отброс, нелюди...

– Остынь, парень. – Песочный поднялся, ему явно не хотелось скандала.

А мне хотелось – с криком, яростью, кулаками, бьющими по столу и в лицо. Конечно, допускать этого было нельзя, и я, вцепившись в тарелку, ждал, когда схлынет мутная волна. Песочный молчал, и мать молчала тоже. Только за стеной визжало скрипками радио – негромко, будто скрипки хотели спать.

– Везучий ты, доктор. – Я оттолкнул тарелку, и рыба подпрыгнула в ней как живая. – Все решил, со всеми договорил-

ся, и ничего у тебя не болит. А со мной другое! Мне перекаптоваться надо. Понять, как там дальше. Считай, что я... в санатории, в *Крыму*. Считай и не трогай меня, ясно?

Он стоял и слушал – простой, растерянный и очень светлый, как в тот раз, когда хотел починить резаную руку. Железо в его глазах таяло, не сменяясь жалостью. Хороший был человек, но здесь, в моем доме, лишний, и потому я по-волчьему гнал его прочь.

– Это из-за Петра, – тихо сказала мать, – умер Петр-то, вот он все и бросил.

Шесть лет назад я сидел на подоконнике в нашем подъезде. Там всегда хорошо читалось – за хлипкими квартирными дверями говорили, кашляли, гремели посудой. Мимо ходили люди, большие и малые, с собаками и без. Они скользили как тени, словно их вовсе нет. Наплывали и исчезали снова, а я оставался на своем насесте, смотрел сквозь них и думал... Ну это если книжка оказывалась дельной.

По чести говоря, к десяти годам все дельное в детской библиотеке я уже вычитал. А во взрослую меня не записали. Никто не верил лохматому мальцу с дешевым ранцем. Куда ему, понять ничего не сумеет, а вещи казенные попортит. Конечно. Мои слабомозглые сверстники превращали учебники в хлам, а внешне я от них ничем не отличался. В книжном тогда работала злая тетка, действительно злая, иначе не скажешь. Книг она в руки не давала, на вопросы отвечала

лаем, и я презирал ее, как и многих других отсталых теток.

В тот вечер мне досталась обманка. Называлась она звучно, но внутри оказалась насквозь гнилой. Половину текста я просто не понял, и вовсе не потому, что не хватало мозгов. Страницы липли друг к другу, пахли пылью и плесенью, листать их было противно. Дом дышал как обычно – глубоко и спокойно, на верхних этажах шаркали, курили, говорили о чем-то простом. А я злился, жалел потраченного времени и видеть никого не хотел. Особенно его, мрачного дядьку из сорок шестой. Но он встал рядом и выпялился из-под очков на мой неудачный трофей. Спросил:

– Как тебе?

– Дрянь какая-то. – Я швырнул книжку на подоконник.

Дядька гадливо подцепил ее, покачал в воздухе, будто взвешивая, и согласился со мной:

– Пожалуй, да.

Очки у него были старые, в толстой коричневой оправе, волосы с проседью. На плаще темнело пятно – такие, падая, оставляют беляши из домашней кухни.

– Иди-ка за мной. – Он мотнул головой и, чуть прихрамывая, стал подниматься по лестнице.

Сам не зная зачем, я поплелся следом. Двери обдавали нас вскриками реклам и детским ревом. Там, за ними, грели щи, стирали, смотрели новости и ложились спать. И только за сорок шестой дверью стояла тишина. Мрачный дядька жил один, и телик его помалкивал в хмуром ожидании.

Он поковырял ключом в замке и приоткрыл темную щель. Я почти шагнул в эту щель, позвали же как-никак, но дядька толкнул меня в плечо:

– Жди здесь.

Пока я размышлял, обижаться или нет, дядька появился снова.

– На, – он сунул мне тонкую книжицу страниц на двести, – осилишь до завтра, приходи, поговорим. А нет – и ладно, через мать передашь.

Я осилил.

Так началась моя новая пятилетка – рваная, трудная и очень, очень короткая.

Петр Николаевич, тот самый дядька, много работал, и виделись мы довольно редко. Может, потому разговоры наши, долгие и ясные, так запоминались. Горела лампа, бледная, с зеленым абажуром, свет ее резал сумерки неровными ломтями. В одном ломте – очки, в других – бумаги, исписанные мелко и невнятно, чернильница, желтоватые пальцы с папиросой. И сквозь все ломти – дым, сизый, завитый аккуратными кольцами. Жесткое кресло язвило обивкой, но вертеться в нем я боялся, только поднимался над сиденьем и тут же падал обратно. Копчик ныл, ноги немели, но я оставался в комнате и терпел, пока Петр не бросал: «Уходи».

С матерью он едва здоровался – молча приподнимал край шляпы и шел мимо. Мать спокойно отвечала: «Доброго

дня», словно не видела небрежного к себе отношения. Через меня Петр передавал ей списки книг, только списки, больше ничего. Она покупала не задумываясь и без всякой обиды говорила: «Вот, мальчик, как сказали». Никому другому я бы не простил такого, а ему прощал. Раз за разом, зная, что предаю самое дорогое. Я не любил его, нет, конечно, не любил. Мы жили по негласному договору, и каждый из нас что-то с этого имел. Даже он, несмотря на то, что я был ему не ровня.

Пятилетка закончилась в мои пятнадцать. Я бежал наверх поделиться – закрыл всю физику, разумеется, с пятеркой. Отметки нас обоих волновали мало, но аттестат мне все-таки хотелось получить красивый. Дверь в сорок шестую, приоткрытая, поскрипывала на сквозняке. Из глубины квартиры неслись незнакомые голоса.

– Да, забираем на Чайковского, – глухо сказал женский.

Мужской крикнул:

– Взяли!

В коридоре зашаркали и как будто что-то покатали.

Сначала я увидел голые пятки, худые и шершавые, а потом и остальное, накрытое простыней. У остального не было лица, только выпуклость под легкой тканью. Двое парней в сизых куртках и таких же штанах потащили все это вниз, снова ногами вперед, и я долго еще видел синеватые ногти на голых, чуть скрюченных пальцах.

– Не стой тут, милый. – Тощая Сима запирала сорок ше-

стюю. – Уехал Петр, навсегда, и ждать его не надо.

Я бросился к себе, оскальзываясь на ступеньках, сжимая зубы и кулаки. Долго возился с замком, а когда наконец справился, понял, что не могу идти. Сидя на давно не чищенном коврике, я даже не ревел – только громко ругался и колотил по каменной плитке. Там меня и нашла мать. Втащила внутрь, отмыла, отпоила чаем с травой. Я хотел спалить свои книги, прямо в шкафу, будто в запертом доме. Но не спалил. Я забыл их, как забыл того человека – вместе с его очками, папиросами и голыми синеватыми ногтями.

Хрящ вернулся в город в начале октября. Холодало, осины девственно краснели, и я начал топить в Берлоге печку. Дрова мне разрешали брать у Бичо за помощь по хозяйству и прочие заслуги. Мария складывала в рюкзак пахучие поленья и грозила:

– Смотри! Если для девки топишь...

Она не знала, где стоит Берлога, и ревновала к ней не меньше, чем к воображаемым девкам.

Когда струйка дыма вытянулась и над временкой Хряща, я отправился в гости. Пустырь между нашими территориями взмок, расплылся, и приходилось прыгать с доски на доску, чтобы не пачкать ботинки. В доме меня Хрящ не принял, отвел в сторонку – там стояли деревянный стол и лавки, кое-где покрытые влажным мхом. Прежде чем сесть, я подложил рюкзак. Хрящ же плюхнулся прямо так, словно штаны его

вовсе не промокали.

– Случилось чего? – Поросячьи глазки глядели без приязни.

– У тебя пока нет. – Я откинулся назад, и спине сразу стало сыро.

– Ой-ой, – заелозил Хрящ, – чувствую испуг.

– Приятно слышать.

Это был первый раунд, примерочный. Оба мы размялись, показали мускулы, но драка как таковая еще не началась.

– Жир говорит, ты игрушку у него стырил? – Хрящ выложил на стол землистые ручищи.

– Взял, – поправил я, – Жир твой твякает много, за то и наказан.

В лещине, растущей вдоль забора, загудело. Ветер ахнул, вырвался из кустов, слизнул со стола подсохшие листья. Полетел дальше, к пустырям, попутно сдирая платя с робких осин.

– Надо-то чего? – вдруг спросил Хрящ и поглядел нехорошо, в переносицу.

– В гетто надо. И лучше сегодня.

Он вздернул брови, согнутым мизинцем постучал по столу, а потом мне по лбу, условно, конечно. Коснись он меня, и разминка бы в два счета переросла в бои без правил.

– Что ты там забыл, болезный?

– Думаю, человечка одного прячут, моего человечка. Хочу вернуть.

– Ух, ты, – хмыкнул Хрящ, – твоего-о-о. Выслужиться надо, чтобы прятали, и не одним местом. Выслужился твой человечек?

– А сам ты выслужился?

– Я-то? Само собой, – гордо ухмыльнулся он, и в проеме рта зажелтели косые зубы.

– Ну так веди! Если тебе это можно, конечно.

Пробный удар прошел по касательной. Хрящ спрятал зубы, вытащил смятую пачку сигарет и бросил ее на стол.

– Твой интерес уяснил. Мой-то в чем, а, Зяблик?

– Скажи, сколько ты хочешь, деньги есть.

Хрящ мелко рассмеялся:

– Вот смурной! Денежек хочет дать.

– А что, денежки не нужны, Хрящ? – как будто удивился я.

– Нужны, Зяблик, нужны. Только цена тут другая.

– Какая же?

– Никакая. – Он поджег сигарету, вдохнул, выпустил вонючий дым. – Не место тебе там, понял?

Коц! Первый апперкот заставил меня закашляться и взять паузу. За спиной Хряща, метрах в двадцати, замаячили пацаны, и среди них – Жир, на этот раз в трикотажной шапке. Курили, поглядывали недобро, но с места не двигались. Ждали.

– А что бы ты сказал... ну, к примеру, про *гнейс*?

Ответный кросс пришелся ему в печень. Он чуть не вы-

ронил сигарету и смотрел ошалело, как разбуженный пес.

– Чего-чего?

– *Гнейс*. Знаешь такую штуку?

– Ну допустим. – Он уже совладал с собой и снова барином развалился на скамейке.

– Тогда идем в гетто. Сейчас.

– Вот что, болезный, – Хрящ подобрался, глазки его превратились в прорези, – за так не поведу, *гнейс* там или не *гнейс*, мне по барабану.

– А за как поведешь?

– Пфф, – фыркнул он, – сделаешь, что скажу, и в расчете.

Новый удар опрокинул меня навзничь. Куда-куда, а в рабство не хотелось совершенно, о чем я Хрящу и заявил. Тот пожал плечами:

– Ну вали, раз так.

Вариант *вали* не годился совсем. Фактически гетто было последним шансом, и не раскрутить этот шанс по полной я не мог. Заметив мои колебания, Хрящ зашептал:

– Не бойсь, чистюля, плохого не попрошу. Все по силам, почти все по закону.

– Смотри, обещал. – Я нехотя протянул ему руку.

Пожатие вышло вялым и потным, оно не годилось для толстошеего Хряща – так же, как не годились для меня навязанные им условия. Бой окончился вничью, но мне почему-то казалось, что он позорно проигран.

– Жир! – крикнул Хрящ через плечо. – Самогоныча тащи!

Обмоем договор-то, а, Зяблик?

Я поднялся:

– Нет, Хрящ, не обмоем. Лучше скажи, когда пойдем.

– Ну уж не сегодня. Время настанет – пацанчика пришлю, любимого твоего. – Он кивнул на Жиру, бегущего к дому за бутылкой. – А пока жди и помни – услуга за услугу.

При первых заморозках рябина, растущая у Берлоги, стала сладкой. Я обдирал темно-красные кисти и горстями закидывал ягоды в рот. После таких набегов хотелось мяса, и я отправлялся за пирожками в ближайшую столовку. Потом сидел на скрипучих качелях, жевал и смотрел на запад – с той стороны в любой момент мог появиться Жир. Но дни шли, а Жир не появлялся, и я уже подумывал, не напомнить ли Хрящу про уговор. Хотя, конечно, для меня это стало бы потерей чести.

Когда однажды в западных кустах мелькнуло яркое, я выронил пирожок и соскочил с качелей. Солнце царапнуло шапку с помпоном, вязаный шарфик, и я разочарованно сплюнул – этот мелкий придурок снова явился в Брошенный край. Ну-ну, хрящевые шестерки будут только рады. Я сел обратно и стал смотреть, как он вприпрыжку несется ко мне.

– Привет! – Остановился метрах в трех, помахал концом шарфа.

– Чего надо? – огрызнулся я.

– Вот, смотри! – Мелкий вытащил из кармана часы, вски-

нул их над головой. – Тебе принес!

Замер, хлопая глазенками. Наверное, ждал, что я растаю, набегу на эти часы, кстати, дорогушие, всплакну. А я не всплакнул. Ворованного мне было не нужно.

Тощий голубь подкрался к упавшему пирожку, клюнул его раз, другой. Отпорхнул испуганно и снова налетел. Сородичи паслись вдальеке, и он торопился урвать побольше, пока остальные не оттолкали его сильными крыльями. Мелкий смотрел на голубя с завистью, крупно сглатывая. Но броситься в пыль и отнять у птицы добычу не решался. Или считал, что это слишком даже для него.

Я поморщился и вытащил из рюкзака пакет – там еще немного оставалось.

– На, ешь.

Мелкий робко шагнул и остановился, как будто не верил. Потом двумя руками схватил пакет и прижал его к груди.

– Тепленькие...

– Да ешь уже! – Размазывать сопли я не планировал.

Он послушно уселся на ящик и скоро зачавкал, радостно жмурясь. Солнце грело мне затылок, а ему исцарапанный нос и старые сапожки на молнии. Пахло дымом – протопленная Берлога дышала во всю трубу.

– А что, дома не кормят? – спросил я.

– Когда как. – Мелкий засунул язык в пирожковое нутро.

– С кем живешь-то?

– Папка, мамка, как положено.

– Папка пьет?

– Еще бы, – улыбнулся он, словно гордился папкиными запоями. – Мамка не пьет, вкалывает, полы в больнице моет. Вечером что сготовит, то папка съест. А я как успею.

Наползла туча, и качельные перекладыны стали по-зимнему холодными. Наевшийся мелкий дышал на мерзлые пальцы, пустой пакет валялся у его ног.

– Возьми часики. – Он шмыгнул носом и протянул свой глупый подарок.

– Иди ты, – отмахнулся я.

Туча шевельнулась, и крупные капли забарабанили по пыльной земле. Мелкий тут же натянул капюшон, но не сдвинулся с места. Только часы за пазуху спрятал. Дождь усилился, и я рванул от него под крышу, в тепло и сухость натопленной времянки. Скинул куртку и нырнул в одеяло, чуть колкое, тяжелое, выменянное прошлой весной на медный подстаканник. Хотелось лежать и лежать, слушать мерный стук, заснуть под него, но что-то мне мешало, и я, конечно, знал, что именно.

Этот мелкий урод все так же сидел на ящике и ежился внутри намокшего пальто. Надо было бросить его там, но я почему-то не смог.

– Эй, иди сюда! Хватит цирка-то...

Он вскочил, засуетился, бросился со всех ног. Ввинтился в Берлогу, толкнув меня от двери. Прилип к печке и, вино-вато улыбаясь, выдохнул:

– Здрóрово!

Я снова завалился на топчан и свернулся клубком. Пусть обживается, раз уж пришел. Теперь не выгонишь. Свет из окна лился жидкий, и мелкий в нем походил на скелет с черными провалами глазниц. Шапку он снял, высыпав кудряшки, молнии на сапогах расстегнул, в общем, вид имел вполне домашний. Глазки его шарили по комнате, то и дело загораюсь. Особенно ему понравились подсвечник на три свечи и бидон с ягодами на боку, еще советский, мать говорит, ходила с таким за молоком и квасом.

– А там что? – Мелкий кивнул на вторую дверь, запертую на висячий замок.

– Жены, конечно, – усмехнулся я, – знаешь про Синюю Бороду?

– Не-а, – помотал он головой, – открой, хочу посмотреть.

Нехотя я сполз с топчана и выудил ключ со дна жестяного ведра. Замок открылся не сразу, сначала покряхтел – видно, пришла пора его смазывать.

– Где, где жены-то? – Мелкий озирался и хлопал ресницами.

В подсобке не было ничего, кроме полок со всяким хламом и присыпанного стружкой верстака. Печка выходила сюда одним своим боком, и волна мягкого тепла кутала нас с головы до ног. Здесь всегда стояли сумерки, даже в яркие дни, и в сегодняшних сумерках я видел, как маленький кудрявый зверек шныряет по углам, что-то нюхает, трогает мои

вещи. Видел и почти не злился. В конце концов, юркий напарник из серии *лишь бы не прогнали* может оказаться весьма кстати.

– Ладно, оставайся, будешь пока при мне. – Я взял его за плечо, легонько встряхнул. – Только не воруй, узнаю – пойдешь к чертям.

– Не врешь?! – закричал он и резиновым мячиком запрыгал по комнате. – Ура! Ура!

Тогда я и решил, что он будет Мелким. Как его звали в гадюшнике, именуемом семьей, значения не имело. Все значения были здесь, в моей полутемной Берлоге, поливаемой октябрьским дождем.

Хитрый был взгляд у Клима Иваныча – вроде блеклый, из-под жиденьких бровей, а буравил насквозь. Сидел Клим на краешке табуретки и даже папку с бумагами на коленях держал, мол, на стол *безгигиенно*, как-никак обеденный. Он играл из себя простачка, мелкопоместного мента в низкой должности. И говорил соответственно – присаживаясь на гласные и роняя уголки губ.

– Не пойму я вас, Анна Николаевна, – качал он головой, – как же вы не боитесь?

Мать разливала чай по гостевым кружкам и тихо отвечала:

– А чего же бояться?

– Да хоть вы ей скажите, – Клим стрельнул глазами в песочного, – вижу, разумный человек. Уж не одно нападение!

И все где-то здесь, рядом с домом вашим. Бродит он тут, понимаете? А ну как кинется на вас, Анна Николаевна?

– Искать надо лучше, – буркнул песочный, – чтобы не бродил.

Новость о том, что мать сожительствовала с Хассом, пусть и десять лет назад, выбила его из колеи. Он нервно крошил хлеб и глядел потерянно, как ребенок, забытый на скамейке.

– Обижаете, – Клим кашлянул в кулак, – ищем, ей-ей, ищем. И найдем, дайте срок. А вы, Анна Николаевна, обещайте по темному времени дома сидеть. Слыхали, что было-то на днях? Вашего возраста женщину – нагнал, повалил, одежду разорвал. Хорошо, жива осталась.

Вот спасибо, Клим Иваныч! Я шевельнулся в своем углу, протянул руку за кружкой. Тетку, конечно, жаль, будет теперь лечиться годами и дрожать по ночам. Но для меня эта новость – мед в уши. Значит, здесь еще Хасс, не ушел с концами, не уехал в теплые края.

– А ты, – Клим повернулся ко мне, – помнишь дядю Пашу?

– Чуть-чуть помню, – я старался говорить спокойно, – толстый такой и кричал много.

– Вот! Уже тогда болел, – наставительно сказал Клим, – а теперь совсем плохой. Бдительны будьте, Анна Николаевна, и если что увидите, звоните, ладно?

Он положил на край стола визитку, старую, жеваную, с заломленным уголком. Залпом выпил подстывший чай и, при-

жимая к себе папочку, пошел одеваться.

Песочный закрыл за Климом и прислонился к косяку.

– Вот так квас, – протянул он.

– Ты сердишься? – Мать взяла его за локоть.

– Не сержусь, дела прошедшие. Но твоя беспечность... глупо же, Анна!

Мать пошла в комнату, и он, ссутулившись, поплелся за ней. Зажгли торшер, я понял это по тихому щелчку, задвинули шторы.

– Ничего он мне не сделает. – За прикрытой дверью голос ее звучал гулко.

– Откуда ты знаешь?!

– Знаю и не боюсь. И ты не бойся.

Они перешли на шепот, быстрый, горячий. Мать просила, смеялась короткими вспышками, он почти ее не слушал. А я так и стоял в коридоре, только шапку на уши натянул, меховую, чтобы не знать, как у них будет дальше. В темном зеркале мой двойник, прикусив губу, мял областную газету, и пальцы его чернели и пахли краской.

Мать выскочила ко мне минут через десять.

– Я же нашла, мальчик!

Половинка воротника на ее платье перевернулась и слепо светила изнанкой.

– Что ты нашла?

– Открытку, с Новым годом!

Три рисованных зайца в колпаках плясали вокруг елки, у одного из них на морде стоял почтовый штемпель. Я перевернул открытку и прочитал:

Дорогие Аня и Паша!

Поздравляем с зимним праздником. Желаем здоровья, успехов в работе и мирного неба над головой. Не забывайте нас и приходите в гости.

Андрей и Лиля Пименовы

Написано было женским почерком, видно, Лиля Пименова это и сочинила. Причем сочинила в том году, когда мне исполнилось шесть. Сглотнув, я нащупал выключатель, и на открытку вылилась лужа света. Отправителем значился Андрей Семенович Пименов, проспект Крылова, десять, квартира пять. Получателем – Хасс Павел Петрович, проживающий по нашему адресу.

– Ты ведь этого хотел? – Мать смотрела на меня ласково.

– Да, спасибо. – Я погладил ее по плечу.

В тот год, когда мне исполнилось шесть, мы почти так же стояли в коридоре. Она – на коленях, а я на тощих маленьких ножках. Терлись носами, держались за руки. В комнате, совсем рядом, цедил холодное пиво Хасс. Цедил и кричал:

– Что вы там шепчетесь? Устроили маевку! К чер-р-р-товой матери разгоню!

Новый, песочный человек не кричал ничего. Затаившись в той же комнате, он ждал, когда я наконец уйду и оставлю

их в покое.

Большой черный кот терся о мои ноги, пачкал штанины шерстью. *Мяу* у него было басовитое, с подфыркиванием. То ли ласки хотел, то ли корма, но я в чужом доме ни тем, ни другим не распоряжался. Андрей Семенович Пименов, худой, длинный, с печально обвисшими усами, варил в бежевой турке кофе.

– Пашка-Пашка, – качал он головой, – поизносился. Но ты, раз сын, плохого о нем не думай. Это все болезнь... без болезни бы он ого-го... Пашка-то наш.

Идея представиться хассовым отпрыском оказалась весьма удачной. Пименов вмиг потеплел, разулыбался и даже пригласил к столу. Сразу же спросил, не Веркин ли сынок. Наличие некой Верки меня порадовало, и я бодренько заявил, что приехал из другого города и матери моей здесь никто не знает.

– Ищешь, значит, батю... Это ты молодец. – Пименов плеснул в белую чашечку пахучего кофе. – На, попей. И сухарик бери, они у нас вкусные, с изюмом.

Кот поерзал задом по полу, напрягся, вскочил на стол. Сунул нос в вазочку с сухарями, поморщился и развалился кверху пузом на мятой скатерти.

– Андрей Семенович, помогите! Пусть больной, но ведь отец. – Я решил поддавить на слабое место.

– Как же тут поможешь? – удивился Пименов. – Полиция

вон ищет, и то не находит. Ты подожди немного. Поймают его, тогда и сходишь на свидание. Сыну не откажут.

– Но где он может быть? – настаивал я.

– Да где угодно. Квартиру продал, лет семь назад, перед отъездом. Уезжал он, надолго. Может, в Ростов, а может, и вовсе на север... Друзей растерял, еще пока болел, не нужны мы ему стали. Разве что бабы... с этим у него проблем не бывало.

– Дайте, пожалуйста, адрес старой квартиры, – попросил я. – Мало ли, знакомые остались.

– Дам, отчего же не дать. Но вряд ли там что-то знают. С соседями он особо не дружил.

Пименов погладил кота, и тот зажурчал, довольно жмурясь. Кофе давно остыл, но мне не хотелось пить.

– А расскажите про этих... баб.

– Ну что рассказать, – Андрей Семенович хрустнул сухарем, – три штуки их, заметных. Одна – законная супруга. Чистенькая, из приличных. То ли Вика, то ли Дина... памяти на имена совсем нет... Может, вообще Аня?.. – Он задумался. – Хотя нет, Аня вроде дочка их была. Хорошая такая дочка, глазастая, на фото видел. Но не выдержал Пашка, сбежал, лет пятнадцать уж как, больно пилила его жена.

– Адрес знаете?

– Найду, на Космонавтов где-то, у меня записано. Кстати, вторая баба точно Анька была! И в том же районе проживала. Но у нее не ищи, она не спрячет. Накрыло его с Анькой,

здорово накрыло. Едва не сел тогда. Поколотил и ее, и сына... сейчас он взрослый уже, сынок-то, вроде тебя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.